

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

## ТАБЛИЦА АГЕЕВА

РОМАН

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Уже в сумерках Пётр Дмитриевич подкатил к своему загородному коттеджу. Смотрел, не появится ли в свете фар кот Кузьмич, его задранный хвост, семенящие лапы. Обычно Кузьмич хоронился в кустах, издали, по звуку мотора, угадывал автомобиль Петра Дмитриевича. Выскакивал и бежал впереди, словно вёл машину к воротам, изображая хозяина.

Кота не было. Пётр Дмитриевич отворил ворота, ввёл машину и поставил её под деревьями, предвкушая, как станет выговаривать Кузьмичу, прозевавшему появление машины, сетовать на его нерадивость и нерасторопность. После дневного московского жара воздух казался прохладным, свежим, с тихими ароматами близкой осени. Пахло спелыми яблоками, флоксами, берёзами, на которых появились жёлтые серьги с нежными запахами увядания. Пётр Дмитриевич надыхался чудесной свежестью, достал ключи и пошёл открывать дверь. Вставляя ключ в скважину, почувствовал, как что-то толкнуло его в грудь. Протянул руку, и пальцы погрузились в мех. Всмотрелся и жутко ахнул. Перед входной дверью в петле висел кот. Он тихо раскачивался, поворачивался на шнурке. Рот был оскален, белели острые зубы. Передние лапы вытянуты, будто он от кого-то отталкивался.

Пётр Дмитриевич принялся освобождать кота из петли. Но шнур не распускался, глубоко ушёл в мех. Тело кота остыло, и вытянутые лапы окостенели. Агеев в ужасе оглядывался. Убийцы кота были тут, в темноте, под деревьями. Видели, как он старается вынуть кота из петли, как испуганно осматривается. Он ожидал нападения, удара. Торопливо отомкнул дверь, скакнул в прихожую, оставив кота висеть снаружи. Зажёг светильник в прихожей и фонарь перед домом. Стоял потрясённый, чувствуя, как дрожат руки. Прошёл в кухню, взял большой кухонный нож, похожий на тесак. Готовый отбиваться ножом, открыл дверь, кольхнув висящего кота.

Нападения не было. Фонарь освещал тёмную зелень клёнов, яблоки на ветвях, клумбу с поникшими флоксами. Некоторое время Пётр Дмитриевич стоял, держа наготове тесак. Затем перерезал шнур, на котором висел Кузьмич, подхватывая падающее тяжёлое тело кота. Внёс в прихожую, положил на лавку и запер дверь на все замки.

Кот лежал на лавке, оскалив зубы, подняв вверх лапы, словно ждал нападения. Был виден кончик его розового языка. Пётр Дмитриевич держал

тесак, понимая, что Кузьмича жестоко убили, дабы этим убийством послать ему знак. Предупредить, что следующим висельником будет он, если не выполнит требований насильников. Не отдаст им Таблицу Агеева.

Осторожно орудуя тесаком, Пётр Дмитриевич разрезал петлю. Отложил нож, на котором оставалась шерсть. Смерть Кузьмича ворвалась в него ошеломляющим ударом, побуждая куда-то бежать, что-то решать, у кого-то искать защиты. Он достал из шкафа чистое полотенце. Постелил на лавку. Переложил Кузьмича на полотенце. Выключил в прихожей свет, поднялся наверх и лёг в кровать. В доме было темно, тихо. В доме находился покойник.

Пётр Дмитриевич вспоминал, как Кузьмич появился в доме крохотным пушистым котёнком, — лохматый клубок, из которого глядят огромные золотые глаза. Как Кузьмич играл медным бубенцом с шёлковой ленточкой. Толкал то одной, то другой лапой. Бубенец звенел, Кузьмич пугался, кидался опрометью под кровать. Однажды, уже взрослым котом, Кузьмич улёгся на раскрытый компьютер, нажал на какую-то клавишу и стёр драгоценный текст. Пётр Дмитриевич сердился, упрекал кота, а тот тёрся головой о ногу хозяина. Вспомнил, как Кузьмич пропадал на несколько дней из дома, и Пётр Дмитриевич не находил себе места, пока Кузьмич не появлялся на карнизе окна, его круглая косматая голова и требовательные золотые глаза.

Пётр Дмитриевич прислушивался. Вдруг тихо прошуршит в дверях, кот проскользнёт в комнату и тяжело вспрыгнет на кровать, придавит ноги, станет в темноте прихорашиваться. Но было тихо. Мёртвый Кузьмич лежал в прихожей на полотенце, воздев вверх лапы, словно о чём-то умолял.

Из мёртвого кота Кузьмича вдруг вышел живой учитель словесности, чьим именем был наречён кот. Учитель явился, сухой, костлявый, с крепкими пальцами, которыми он впиался в край стола, и его брюзгливое лицо, насмешливые губы преобразались, когда он читал на уроке Блока. Пётр Дмитриевич вспомнил свою тетрадку с диктантом, выведенную красными чернилами отметку “пять с плюсом”, что и теперь, спустя много лет, вызывало у него тщеславное чувство превосходства над сверстниками. Явились танцевальные вечера, на которых он разучивал бальные танцы, обнимая за талию хрупкую барышню, имени которой не помнил, но помнил дрожащую жилку на нежной шее, которую не решался поцеловать. А однажды мать явилась поздно домой, принесла букет роз, и отец что-то громко ей выговаривал. Засыпая, он слышал их нервные голоса. И та чудесная лесная дорога с недвижимой водой в колее, и жёлтые цветы, такие яркие на чёрной земле. И взлёт ракеты в звоне и пламени. Он видел, как ракета, превращаясь в звёздочку, уходит в облако, и по небу бежит перламутровая волна. И снова кот Кузьмич, лежащий в прихожей, с молитвенно поднятыми лапами.

И внезапная паника. Его дом окружён. В берёзах и клёнах притаились убийцы. Проникнут в дом, выхватят его из постели, станут пытать, вырывать из сердца Таблицу, и он отдаст её, выхаркает с кровью этот страшный дар, данный ему на погибель и муку.

Пётр Дмитриевич сел в постели, собираясь бежать. Таблица под сердцем слабо вздрагивала, словно страшилась, что её извергнут, отдадут на поругание. Агеев улёгся, укоряя себя в малодушии.

Так длилась ночь в кошмарах, кратких сновидениях и пробуждениях.

Утром Пётр Дмитриевич спустился в прихожую. Кот Кузьмич всё так же лежал на чистом полотенце. Лапы были воздеты. Белели оскаленные зубы. Розовел кончик языка. Но открытые глаза утратили цвет самородков. Были мутно-серые, с мёртвой синевой.

Пётр Дмитриевич взял в сарае лопату. Выбрал под клёном место, лишённое травы. В жару Кузьмич ложился под клён, сладко вытягивался, щурил золотые глаза. Агеев вырыл Кузьмичу могилу, осторожно откладывая в сторону холодные пласты земли. Бабочка белянка налетела, покружилась рядом, перепорхнула забор и исчезла. Та самая, за которой охотился Кузьмич ради забавы, лениво подпрыгивая. Теперь белянка простилась с Кузьмичом, зная, что больше не будет этой забавы.

Пётр Дмитриевич отыскал старинный бубенец с линялой шёлковой ленточкой, которым так любил играть Кузьмич. Обернул Кузьмича полотенцем

и, чувствуя его неживую тяжесть, отнёс под клён и опустил в могилу. В головах кота положил бубенец. Из-под полотенца выглядывала задняя лапа. Пётр Дмитриевич осторожно её пожал, прикрыл полотенцем. Стал бросать в могилу землю, пока не скрылся край полотенца. Насыпал аккуратный холмик и стоял, опершись на лопату. Яблоня золотилась плодами. На высокой берёзе желтела длинная, свисавшая бахрома. Но не было в этом солнечном осеннем пространстве любимого существа, и Пётр Дмитриевич ощутил такое одиночество, такую невосполнимую пустоту, такую вину перед этим преданным родным существом, что в глазах всё стало расплываться, — яблоки, желтеющая берёза, беседка, где столь часто они сидели с котом в безмолвии, дорожа возможностью быть рядом.

Слёзы текли. Агеев рыдал, плечи его сотрясались. Огромный, окружавший его мир был непознаваем, и только слёзы говорили о его подлинности, подтверждали его существование.

Петру Дмитриевичу показалось, что кто-то идёт мимо забора за деревьями. Сухой, сутулый, в мятом пиджаке и поношенных брюках. Конечно, это был он, учитель словесности Михаил Кузьмич. Пётр Дмитриевич кинулся за калитку, желая догнать учителя. Но никого не было. Улица была пустой. Какой-то мальчик мчался на велосипеде, сверкая спицами.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич помнил младенческие пробуждения. Открывал глаза, и всё ликовало, сверкало, чудесно ослепляло. Каждая частичка трепетала, благодарила, стремилась в восхитительный свет, откуда звучал бессловесный зов. Этот влекущий зов не умолкал никогда. Звал в пленительную бесконечность, которая была впереди него, была над ним в небесах, была в нём самом. Открывала божественные предчувствия, которые влекли его по городам и весям, от мечты к мечте, в ожидании чуда. Оно случилось однажды среди горячих лугов и сияющих вод. А потом повторилось во сне, наградило откровением. Вручило бесценный дар, Таблицу Агеева. Этот таинственный зов звучал в каждой русской душе, сделал русский народ народом-странником, народом-скитальцем, народом-путником. Странствуя по земным пределам, народ создал невиданное государство между трёх океанов. Странствуя среди небесных туманностей, сложил восхитительные песни, стихи и поверья. Странствуя в необозримых просторах души, он обрёл лучезарную веру в божественное небывалое царство.

Этот зов, как никто другой, слышал неутомимый скиталец, Фёдор Кононов. В одиночку он избороздил все мировые моря. Поднимался на все мировые вершины. Добредал на лыжах до Северного полюса. Одолевал пески всех земных пустынь.

К нему отправился Пётр Дмитриевич — исследовать таинственный “код русских странствий”, разгадать тайну векового русского зова.

Фёдор Кононов в свои шестьдесят был сух, лёгок, строен. Ступал весело, с птичьим подскоком. Имел кожу сухую, коричневую, просмоленную, мышцы из тонких крепких волокон, как у дерева, лишённого мякоти, где одна только звонкая твердь. Его взгляд, острый, играющий, вдруг останавливался, устремлялся мимо, в заветную даль, где бушевали океаны, голубели высокие ледники, краснели раскалённые барханы, чудились загадочные миражи. К нему и пришёл Пётр Дмитриевич, предварительно списавшись и получив приглашение.

Кононов встретил Агеева во дворе загородного дома. На зелёной лужайке стояла лодка, недостроенная, с полыми бортовинами. Хозяин в фартуке, с перевязью на лбу, строгал на верстаке длинную доску, снимал с неё кудрявую стружку. На плечах под рубахой играли мускулы, коричневые кулаки сжимали рубанок, глаз зорко следил за белым завитком, который кудрявился, как птичий хохолок.

— Достраивать надо. Время поджимает. Что хотел узнать? — Кононов цепко сжал руку Петра Дмитриевича.

— Опять в странствие? Куда, если не секрет?

— Думаю спуститься на веслах по Лимпопо. В устье у самого океана есть дюны, Эоловы пески, которые поют. Хочу послушать, как поют пески. Где пресная речная вода встречается с морской, солёной, там стоят стеклянные волны, как сосуды света. Хочу пройти сквозь это стекло. Переплыву пролив к Мадагаскару, а там, говорят, водится ночная бабочка, которая поёт. Хочу услышать, как поёт ночная бабочка.

Фёдор Кононов произнёс это тихо и радостно, предвкушая ночное пение загадочной бабочки Мадагаскара. Так, должно быть, русские странники, отправляясь за три моря, были томимы зрелищами заморских дворцов, всеячих садов, видениями восточных красавиц и вещей птиц.

— На этой лодке? На вёслах? — Пётр Дмитриевич легонько щёлкнул лодку, которая чуть слышно откликнулась сухим звоном, как чуткая виолончель.

— Русские лодки самые прочные. Их лёд не ломает, камень не бьёт. Они морскую волну держат. Я много лодок перепробовал. Нет лучше русской.

— Сам её мастеришь?

— Я каждую шпонку, каждый стык знать должен. Сейчас она мне лодка, а завтра — домовина. Или ковчег спасения, на случай потопы.

Они сидели на лавке и пили клюквенный морс, которым Фёдор потчевал гостя. Пётр Дмитриевич чувствовал себя легко и уютно с этим странником, который сегодня здесь, в подмосковном посёлке, а завтра поплывёт один по жёлтой реке, где в воду плюхаются длинные, как брёвна, крокодилы, по берегам горят хижины и бегут чернолицые люди с автоматами, а русский странник мерно налегает на вёсла, смотрит, как летит над ним ленивая синяя птица.

— Хотел тебе задать вопрос, быть может, скучный для тебя, которым много раз тебе докучали. Можно?

— Задавай. Если смогу, отвечу.

— Что тебе не сидится на месте? Уже весь мир объездил, все рекорды побил. Чего ищешь? Какой новизны? Может, смерти?

Кононов погладил лодку коричневой ладонью, как гладят собаку. Стряхнул с гладкой доски кудельку стружки.

— Если ты домосед и в Бога не веришь, меня не поймёшь.

— Может, пойму.

— Я Бога зову. А Он меня выкликает. Я с тобой здесь сижу, а Он меня ждёт. Место встречи назначил. На Мадагаскаре.

— Как же Бог тебя на Мадагаскаре ждёт? Откуда знаешь?

— Зовёт.

— И как же ты с Ним повидаешься?

— Я тебе случай мой расскажу. — Фёдор Кононов пошевелил коричневыми пальцами, пошептал сухими губами, из которых солёные ветры морей выпили всю розовую свежесть. Казалось, листает невидимую книгу, читает незримые письма с узорными буквицами, в которые вплетены цветы неведомых стран, птицы небывалых лесов. Житие Фёдора Кононова, очарованного русского странника, немлещего божественному зову. Этот зов доносится из затуманенных далей, вещей снов, пьянящих мечтаний.

— Раз шёл пустыней Каракум. Шёл рассветами и закатами, когда нет солнца, чтобы днём не испечься. Иначе вмиг сожжёт, и от тебя на бархане только сухая кожа останется. Утром пустыня прекрасна. Песок влажный, гладкий, как шёлк. Во все стороны бегут жуки-чернотелки, оставляют лапками колючие дорожки. Ящерики-круглоголовки на лапках привстанут и метнутся, только след простыл. Черепаха ползёт, карябает песок лапами. Скользнет змея, стальная, с синим отливом. Пустыня благоухает, дышит, ласкает, как прекрасная женщина. Это всё до восхода. Солнце встало, словно открыли в печи заслонку. Польшнуло жаром, песок стал белый, сыпучий. Все жуки, черепахи, ящерики вмиг зарылись вглубь, куда жар не достанет. Ни следов, ни движений. Только белый жар, словно в барханах накаляется добела спираль, и каждый вздох, как глоток огня. Такие моменты переживаешь в туркменских стойбищах, в посёлках геологов. Планируешь переход,

чтобы добраться к жилью до полудня и не сгореть. Но раз то ли неверно маршрут рассчитал, то ли компас подвёл, то ли сбился. Солнце в зените, а я бреду по пескам, и им нет конца. Барханы белые, с острой кромкой, как лопасти. Их построил ветер и крутит, как пропеллер. Вся пустыня в волнистых холмах, которые вылизывает ветер, вытаскивает лезвия. Поднимаешься на бархан, он всё уже, тоньше, превращается в острие меча. Воздух туманится от тысяч песчинок, которые сдувает ветер, и бархан медленно плывёт, перемещается. Вся пустыня течёт, движется по спиралам, эллипсам, вращая белыми лопастями. Кажется, плывут по волнам множество обнажённых женщин, их прекрасные груди, плавные бедра, чудесные, обращённые к небу лица. Ты очарован, опьянён, гладишь ладонью шелковистую грудь, окружённую волшебной женственностью. Восходишь на бархан, по отвесной круче сползаешь вниз, увлекая жидкие потоки песка. Оказываешься на дне белой чаши, где, как в тигле, скопился жар и идёт плавка. Ты плавись в белом кварце, превращаешься в стекло. Над тобой склоняется огромный стеклодув, готовый превратить тебя в стеклянный сосуд. В этом тигле невозможно дышать, ибо сгорел весь кислород. Подошвы гнут, солнце касается головы раскалённым шкворнем. Каждая песчинка, каждый кристаллик кварца отражает солнце и бьёт в тебя тончайшим лучом. Ты внутри реактора. Луч пронзает тебя и убивает кровяную частицу. Твоя кровь закипает, изо рта вылетает синий огненный факел. Сердце ахает, и в глазах кружатся огненные вензеля. Ты хочешь выбраться из этой адекой ямы. Карабкаешься на бархан, обрушивая раскалённые оползни. Добираешься до вершины и снова скатываешься в пылающую ямину. Ты хочешь сориентироваться по солнцу, правильно ли идёшь. Но вместо одного солнца появляются два, три, четыре. Над барханами дрожат в стеклянных миражах зелёное солнце, синее, красное, чёрное. Не знаешь, какое из них настоящее. Ты начинаешь бредить. Твоя плоть испаряется. Ты понимаешь, что скоро умрёшь. Я шёл по барханам, потеряв направление. Понимал, что скоро упаду от теплового удара, и меня никто никогда не найдёт. Мои кости перетрут колючие песчинки, и мой прах будет кочевать по пустыне, по закодированным эллипсам и кругам. Я был готов упасть и сдаться. Тепловой удар приближался, я слышал его лязганье в ушах. Пески неожиданно кончились. Открылась каменная сухая земля. Впереди я увидел дерево и побрёл к нему. Оно было кривое, корявое, не имело возраста. Может быть, было посажено здесь при сотворении мира. Листва была редкая, от крохотных листиков тень была зыбкой, горячей. Я вошёл в эту тень и рухнул. Потерял сознание. Не знаю, сколько длился тепловой удар. Я очнулся. Солнце уходило в пески, пустыня была красная. Приходя в себя, я понял, что спасла меня зыбкая, прозрачная тень дерева, сберегла от жгучих лучей. Это Бог тысячу лет назад посадил на краю пустыни это дерево, чтобы оно через тысячи лет спасло меня. Господь знал, что когда-нибудь я приду сюда, и дерево дожждётся меня и спасёт. Вдалеке виднелись какие-то строения. Я добрался до них. Это было стойбище туркмен-скотоводов. Там был колодец. Верблюды из поилки пили воду. Чмокали толстыми губами, сосали воду сквозь жёлтые зубы. Я оттеснил верблюда и стал пить. Мне казалось, что вода, попадая в желудок, кипит. Я облил себя с ног до головы. Рядом стояло ведро. Я наполнил ведро водой и отнёс его к дереву. Полил его корни. Я смотрел на суковатый ствол, на свернувшиеся от жара листочки, и знал, что передо мной Господь, наша встреча состоялась.

Лицо Фёдора Кононова стало тихим и строгим. Он прочитал несколько страниц своего жития. Житие подтверждало целостность его жизни. Так целостно выглядит спелое яблоко с душистой плотью и твёрдой сердцевиной.

Пётр Дмитриевич, слушая житие, чувствовал, как трепещет у сердца волшебная Таблица. В ней прибавляется ещё один сокровенный элемент — «код русского Богопознания». Этот элемент воздействовал на все другие коды Таблицы, и они начинали сверкать, переливались, как хрустальная люстра в Георгиевском зале Кремля. Пётр Дмитриевич нёс в душе эту хрустальную люстру, благодарный Фёдору Кононову, который её зажгёт.

— Расскажу ещё один случай. Ещё одна встреча с Богом. — Фёдор поднёс к лицу еловую стружку. Вдыхал запах нездешних лесов. Поцеловал

стружку и положил её на верстак. — Задумал на лыжах пройти по тундре и достичь ледового моря. Проложил маршрут. Днём переход по безлюдью, ночлег где на оленьем стойбище, где в вагончике метеорологов, где на пограничной заставе, а где на снегу в палатке. Все выверено по часам, маршрут проложен по карте. Встретил с лопарями их праздник. Гонки на оленях, стрельба, танцы. В ночном небе сполохи шелками переливаются, будто великанша подолом плещет.

Утром рано на лыжи, вперёд. За спиной рюкзак килограммов тридцать. Палатка, продовольствие, спальный мешок. Лыжи скользят по насту, снег, как сахар, сверкает. За спиной, на бечёвке запасная лыжа вьется, играет. Силы свежие, солнце белое, наст посвистывает. Благодать. Встретил лопаря-охотника. Убил росомаху, свежует, шкурку снимает. У лопаря лицо круглое, с усиками. Ножик блестит. мехом росомахи потряхивает, а голую тушку кинул на снег, и она лежит красная, с рёбрами, с заострённым хвостом. Друг другу кивнули и расстались. Бежал легко, ходко. Мороз, пар изо рта. Лыжи посвистывают, палки поскрипывают. Солнце на кончиках лыж растопило снег, и блестят водяные капли. Ни души, белизна, ни тёмного пятнышка. По обеим сторонам от солнца — круги, как воротники, жёлтый, розовый. Бегу и с солнцем играю. Сощурю глаза, и на ресницах пышные радуги. То волшебное дерево посреди тундры, как радужная пальма. Стремлюсь к дереву, а оно убегает. То крест из радуг, концы у креста пышные, из цветных перьев, и кажется, крест впереди меня шествует, мне путь указывает. То сказочная птица с огненным хвостом. Я бегу, хочу ухватить жар-птицу, а она ускользает. Ровная тундра кончилась, начался тягун. Пошёл путь в горы. Всё правильно. К закату до перевала дойду, одолею перевал, в сумерках спущусь к ледяному озеру, перееду, а там рукой подать до метеостанции. Отдохну, обогреюсь. На закате солнце красное, и тундра, как медь. Спугнул куропаток, и они, красные, от меня улетели. Вышел на перевал, когда солнце садилось. Такая божественная красота, как в раю! Кажется, бесшумные ангелы надо мной летают. Алый пролетел, сел на гору, и гора алая, как чаша с вином. Зелёный пролетел, сел на вершину, и гора изумрудная, прозрачная. Золотой ангел присел на вершину, и вершина, как слиток. Ангелы летают, меняются местами, а я люблюсь, и такая во мне радость, такое счастье, что ангелы для меня танцы танцуют. Налетались и скрылись. И сразу сумрачно. Небо, как синий камень. Я радуюсь: трудная часть пути позади. Впереди спуск, какие-то редкие камни темнеют. Сейчас спущусь с перевала, с тихим посвистом, между камней, как на слаломе. Оттолкнулся и ринулся вниз. Наст скользкий, лечу, как вихрь. А того не знал, что ветер с гор мелкий снег намёл. Лыжи в снег влетели, резкое торможение, и я кувырком падаю, в ужасе. Ударился о камни, но не телом, а рюкзаком. Такой удар, что заплечные ремни разорвало, содрало рюкзак и кинуло в сторону. Лыжа сломалась. Оглушённый, лечу, и думаю, что случилось несчастье, которого не одолеть. Скатился вниз. Ощупал себя, перелома нет, одни ушибы. От одной лыжи щепка осталась, другая целая. Запасная лыжа, которая на шнурке, тоже целая. Сломанную лыжу сбросил, запасную поставил. Где рюкзак? В нём палатка, спальник, еда. Искать его по склону? Где найдёшь? А уже стемнело. Небо каменное, а в камень одинокая звезда заморожена, яркая, жуткая. Принимаю решение не искать рюкзак, а идти к озеру и дальше, к вагончикам метеорологов. Иду медленно, руки, ноги болят. Когда шёл на перевал, вспонет, а теперь одежда леденеет, как панцирь. Застываю. Ни деревца, ни кустика. Костёр не развести. Только чёрное небо с огненными жуткими звёздами, как бриллиантовые пауки, надо мной повисли, и каждая холодом жжёт. Чувствую, что погибаю. Упаду и не встану. Так и найдут замороженного в ледяную глыбу. И так хочется спать, такая сонливость! Вижу мою комнату, лампу под оранжевым абажуром. Жена стелет постель, и я сейчас лягу, засну. Прогоню сон, и снова бреду. Вот и озеро, белая пустота, а над ней сполохи. Куски льда начинают переливаться и гаснут. Ещё в голове последняя живая мысль осталась. С этой мыслью сел на снег, обнял колени, и подумал: так и замерзну. Стал засыпать последним сном. И во сне почудилось, что в ночных снегах что-то темнеет. Собрался с последними силами,

встал, побрёл и увидел избушку. Должно, рыбаки её сложили, чтобы было где останавливаться. Лыжи сбросил, нащупал щеколду. В ней щепка торчала. Толкнул дверь, вошёл. Ледяная тьма, но глаза во тьме разглядели печку. Открыл дверцу — полна дров, под полешками бумага, для растопки. Под руку сами попали спички. Зажёг бумагу. Дрова занялись. Лежу на полу, смотрю, как огонь скачет по потолку, и в избушке теплеет. Одну закладку дров сжёг, вторую заложил, тоже сжёг. Третью спалил. В избушке потолки низкие, жар. Оконце, стол, какие-то банки, кастрюля. Лежанка наподобие нар. Какая-то ветошь наброшена. Пить хочу. Взял кастрюлю, вышел из избушки, чтобы снегу набрать. Звезд над избушкой полно, и белых, и зелёных, и золотых. Всё сверкает. Я черпаю снег кастрюлей, и вдруг меня после тепла на морозе охватил колотун. Бьёт, зубы стучат. Всё внутри колотится, будто сидит во мне кто-то и бьёт кулаками. Я чудом обратно в избушку заскочил, кастрюлю на огонь поставил, а сам катаюсь по полу, и меня колотит о все углы. Понемногу успокоился. Выпил кипяток. Открыл банку тушёнки и съел. Лёг на нары и в тепле уснул. Утром в оконце солнце, избушка светится. Я с нар слез, убрал сор с пола. Все дрова сжёг и консервы съел. Думаю, доберусь до метеорологов, заберу у них дрова и полностью запас. Встал на лыжи и легонько пошёл через озеро. Дошёл до вагончиков. Меня встретили, напоили, накормили. “Какая избушка? — спрашивают. — Нет никакой избушки”. Сели на снегоходы, захватили дрова, консервы. Покатили по моему следу к избушке. След есть, а избушки нет. Не нашли. Я потом понял, что избушку эту Господь для меня поставил, чтобы я не замёрз. А потом убрал за ненадобностью. Вот так и случилась моя встреча с Богом.

Фёдор Кононов прочитал Петру Дмитриевичу ещё одну главу своего жития. В буквицы была вплетена радужная птица, перламутровый крест, красные, летящие на закат куропатки. Таблица под сердцем пела, ликовала. “Код русского Богопознания” сверкал на ней драгоценной искрой. Русскому человеку Бог являлся в чудотворной иконе, в голубых глазах младенца, в грохоте военного взрыва, в топоре палача, в вешних водах, гремящих по оврагам с цветущими ивами.

— Ну вот, отдохнул с тобой. Теперь за работу. — Кононов поднялся. Взял с верстака еловую стружку и протянул Петру Дмитриевичу: — Дарю. Ты её к губам приложи, и узнаешь, как я по Лимпопо плыву.

Пётр Дмитриевич принял от русского странника еловый локон.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Агеев вернулся домой, и его возвращение было печально. Кот Кузьмич не встречал его у ворот, не бежал впереди машины трогательной трусцой. В сумерках под клёном виднелся бугорок земли, у которого постоял Пётр Дмитриевич, вспоминая строгий, исполненный достоинства лик кота, его золотые глаза.

Дома он открыл компьютер и в ленте областных новостей прочитал два сообщения. Был убит на своей подмосковной даче космист Богданов, руководитель программы “Энергия” — “Буран”, последний из путчистов, кто пытался спасти СССР. Убитого нашли на открытом воздухе. Он лежал на топчане лицом вверх, с открытыми глазами. Убийцы ничего не взяли в доме, только зачем-то спилили растущую на участке сосну.

Во второй новости сообщалось о поджоге церкви по соседству с Ново-Иерусалимским монастырем. В церкви сгорели дорогие иконы, и был найден обгорелый труп казака, который, по-видимому, пытался спасти святыни.

Пётр Дмитриевич был потрясён. Обе смерти были связаны с ним, с его посещением космиста Богданова и священника отца Андрея. Убийцы охотились за Таблицей Агеева. За священными “русскими кодами”. За “космическим кодом” и за “кодом русского чуда”. Убийцы спилили сосну, надеясь найти в дупле “русский космический код”. Сожгли иконы, на которых было явлено “Чудо Русской Победы”. И во всём был повинен Пётр Дмитриевич. Он навёл убийц. Своей Таблицей Агеева вызвал из преисподней чёрные силы.

Желая света, накликал тьму. Желая спасения, привёл к гибели. Мечтая о возрождении, утвердил смерть.

Пётр Дмитриевич чувствовал под сердцем Таблицу, как тяжёлый чугунный слиток. Хотел избавиться от Таблицы, выдохнуть с кашлем, исторгнуть с приступом рвоты. Выдрать из себя по кускам, как вырывают во время аборта плод, рассекая на части в чреве матери.

Пётр Дмитриевич был готов отдать проклятую Таблицу насильникам, только бы они отступились. Не пришли к страннику Фёдору Кононову, к Ирине и Фаддею, которые были посвящены в тайну Таблицы.

Пётр Дмитриевич метался по дому. Хотел кому-то звонить, — в полицию, в спецслужбы. Космист Богданов ночью смотрел на звёзды и был убит. Рыжебородый казак Карп кинулся спасать чудотворные иконы и погиб в огне. А он, виновник их смерти, жив.

Мысль о коте Кузьмиче обожгла и заставила устыдиться. Кот пожертвовал жизнью, но не выдал Таблицу мучителям. Агеев не поддастся страхам. Сбережёт Таблицу, которая послужит воскрешению русского народа.

Пётр Дмитриевич не сразу нашёл звонивший телефон. Спокойный, с приятным рокотом голос произнёс:

— Я — Григорий Афанасиевич Проклов. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь моё имя?

— Разумеется, Григорий Афанасьевич. Вас знают в России. — Агеев слышал о Проклове. Богатый предприниматель, покровитель патриотических русских движений, он не скрывал имперских взглядов. Проклов был причастен к “русской весне”, содействовал возвращению Крыма, способствовал восстанию на Донбассе. — Конечно, я много слышал о вас.

— Я тоже о вас наслышан, Пётр Дмитриевич. Ваше вероучение Русской Мечты созвучно с моими чаяниями. Как и вы, я считаю себя русским мечтателем.

— Ещё одним единомышленником больше, — мягко усмехнулся Пётр Дмитриевич.

— Поэтому вам и звоню. Русские мечтатели должны держаться вместе. Могли бы мы встретиться?

— Конечно.

— Тогда приезжайте сегодня вечером в Лужники, к Москва-реке, на причал. Там будет стоять моя яхта “Витязь”. Поплаваем, ближе узнаем друг друга.

— Непременно приду.

Пётр Дмитриевич удивлялся тому, как вероучение Русской Мечты захватывает умы. Так ветер срывает крылатые семена одуванчика, и вот уже соседний дуг, золотой от цветов, а потом вся округа золотая, в наивных цветах русского Рая.

Вечером, когда московское солнце садилось, Пётр Дмитриевич был в Лужниках, на набережной. Река, огибая Воробьёвы горы, казалась зелёной, с густой ленивой водой. У причала стояла яхта, нос был украшен изваянием витязя в кольчуге, в золотом шлеме, с устремлёнными вперёд голубыми глазами. На мачте развевалась малиновая хоругвь — шитый золотом Спас. Агеев вспомнил, что уже видел эту хоругвь, когда сидел с Ириной в ресторане “Зарядье”. Мимо по реке дважды, туда и обратно, проплыла яхта с малиновой хоругвью, словно хотела привлечь внимание Петра Дмитриевича. И теперь появление этой яхты казалось промыслительным.

У трапа встретил капитан в строгом кителе и фуражке с якорем.

— Григорий Афанасьевич ждёт вас. Я провожу.

На верхней палубе слышались голоса, смех, звуки рояля. Капитан провёл Агеева на нижнюю застеклённую палубу. Навстречу из-за стола поднялся ладный господин с бритым, несколько измождённым лицом, напоминающий красавца из чёрно-белого кино, которому в течение фильма предстояло соблазнить нескольких женщин, застрелить соперника и взять банк. Его чёрные большие глаза смотрели зорко и чуть насмешливо. По их виду не скажешь, что Григорий Афанасьевич Проклов возжигал огонь “крымской вес-



ны”, спасал Черноморский флот, поднял грохочущее восстание на Донбассе с атаками ополченцев, непрерывными слезами и погребениями.

— Рад, что вы откликнулись на моё приглашение, Пётр Дмитриевич. Мы давно должны были познакомиться, — Григорий Афанасьевич любезно указал на стул.

— Я уже видел однажды вашу яхту. Правда, с берега. Не думал, что окажусь на её борту.

— Я иногда провожу на яхте деловые совещания. Это приятней, чем в офисе.

Принесли ужин. Было подано белое сухое вино, салат из крабов, куриный бульон с гренками. После нескольких фраз о погоде и близкой осени завязался разговор.

— Мне кое-что удалось сделать в бизнесе, Пётр Дмитриевич. Я уцелел в смертельных схватках и приумножил состояние. Занимался благотворительностью, строил храмы, помогал русским общинам. Вам, должно быть, известна моя роль в крымских событиях и на Донбассе. Но в один прекрасный момент я понял, что мои усилия тщетны. Они не дают желаемого результата.

— В чём, по-вашему, должен быть результат? — Пётр Дмитриевич услышал слабый рокот, увидел дрожанье вина в бокале. Яхта отчалила и мягко пошла по реке. Мимо поплыл берег.

— Русский народ пребывает в плачевном состоянии. У него переломаны кости. Он лежит под наркозом, в гипсе. В этом состоянии он не способен на историческое творчество. Не способен создать цветущее имперское государство, вернуть утраченные территории, объединить вокруг себя другие имперские народы. Русским необходимо воскреснуть. Должен появиться чудесный царевич, который своим поцелуем поднимет Россию из хрустального гроба. Вернёт русскому народу его непочатые силы. Я всё ждал появления царевича и, слава Богу, дождался.

— Кто же он, Григорий Афанасьевич?

— Пётр Дмитриевич, это вы!

Воробьёвы горы чернели дубами и липами. Стадион на другом берегу зажигал аметистовые огни. Река совершала дугу, и Петру Дмитриевичу казалось, он чувствует вращенье Земли.

— Ваша Таблица Агеева — поцелуй, который разбудит спящую Россию. Я смотрел все передачи с вашим участием. Прочитал все ваши публикации. Изучил суждения ваших сторонников и врагов. Оказалось, что ваши враги — это и мои недруги. А ваших сторонников я число моими друзьями. Поэтому я вас пригласил, Пётр Дмитриевич.

— Вы не ошиблись? Чем я могу быть полезен?

Нескучный сад в своей тяжёлой вечерней зелени погружался в реку. Но впереди уже мерцали, искрились аттракционы Парка культуры. Навстречу проплыл речной трамвайчик в весёлых огоньках, с танцующими на палубе пассажирами.

— Я создаю движение “Русская мечта”. Объединяю все многочисленные, часто бестолковые и кустарные русские начинания. Скрепляю их вашим вероучением. Утверждаю Академию Русской Мечты, где начинаю готовить ваших последователей, апостолов. Вы — глава Академии. Отсюда апостолы, оснащённые вашим вероучением, расходятся по России и проповедуют Русскую Мечту. Будят ото сна Россию. Движение постепенно переходит в партию, я обретаю власть и получаю возможность осуществить мой Проект. Наш с вами Проект, Пётр Дмитриевич. Ибо ваше учение создано под мой Проект.

— В чём его суть?

Аттракционы Парка культуры сверкали, отражались в реке огненными змеями, столбами золотого света. Крутились фантастические карусели. Падали и взлетали расписные качели. По сияющим синусоидам носились шальные вагончики. Гремела музыка.

— В чём смысл Проекта? — повторил вопрос Пётр Дмитриевич, очарованный волшебным праздником.

— Разбуженный “русскими кодами” народ снова становится творцом истории. Учёные совершают невиданные открытия. Энергетики находят неисчерпаемые источники энергии. Медики одолевают смертельные болезни и приближают бессмертие. Инженеры конструируют фантастические машины, летающие в Космосе, плывущие у дна океанов, носящиеся по Земле с невиданной скоростью. Музыканты пишут “музыку русских сфер”. Литераторы сочиняют поэмы “Русской Мечты”. Живописцам дано откровение изобразить райские сады. Мы построим новые города, каких не видел мир. Дадим народу земные блага и устремим народ к благам небесным. Мы создаём нового русского человека, который и является вековечным, подлинным русским, трудами и талантами создавшим царство между трёх океанов. Мы создаём Россию благую, справедливую, имеющую свой прообраз на Небе. Ту, к которой стремились самые великие русские подвижники. Россию, которая является Душой мира и к которой станут льнуть другие народы Земли.

Григорий Афанасиевич произносил всё это без пафоса, не воздевая рук, не возвышая голоса. Он был уверен и твёрд. За его словами стояли долгие размышления, упрямые думы. Он не обольщал, не пленял, а звал в своё дело. Оно было делом и Петра Дмитриевича. Они нашли друг друга, два творца и мечтателя, среди сверкающих вод Русской Мечты.

— Но это потребует огромных усилий, огромных средств, — осторожно заметил Агеев.

— Я отдаю Русской Мечте всё моё состояние. Мои друзья — крупные предприниматели, металлурги, горняки, золотодобытчики — внесут в наше дело свою лепту. Русские люди обретут свою партию, своего лидера и своего идеолога. Вы, Пётр Дмитриевич, идеолог русского народа.

Агеев был вдохновлён. Кончилось его одиночество, страх за себя, за своё драгоценное детище. Теперь он получает защиту, средства, которые позволят продолжать исследования. Искать недостающие коды, после чего Таблица во всей полноте одухотворит Большой проект.

Григорий Афанасиевич указал перстом на верхнюю палубу, где слышались голоса и музыка:

— Теперь же, Пётр Дмитриевич, приглашаю подняться наверх. Там собрались те, кого я называю “Русское сообщество”. За каждым стоит организация, фонд, объединение. Лоскутное одеяло патриотизма. Нам предстоит создать из этих лоскутьев доспех. Гвардию русского народа.

Приближался Крымский мост, похожий на стальную летучую мышь, которая распахнула над рекой свои перепонки. Верхняя палуба была открыта, озарена. Стояли столы, блестели бокалы. Люди чокались, обнимались, переходили от стола к столу. Господин с артистическим коком играл на рояле, вскидывал голову, закрывая счастливые глаза. “Русское сообщество” веселилось. Но умолкло, едва на палубе появился Григорий Афанасиевич с гостем.

Крымский мост прошумел над головами и удалялся. Григорий Афанасиевич поглядел ему вслед и произнёс:

— Господа, позвольте представить вам выдающегося русского мыслителя и пророка Петра Дмитриевича Агеева. Он собрат нашего русского братства. Пусть он услышит, что на душе наших патриотических лидеров, чем дышит “Русское сообщество”.

Вдалеке, над чёрной рекой, всходило золотое солнце храма Христа Спасителя. Григорий Афанасиевич протягивал руку то к одному, то к другому собрату, приглашал высказаться. Тот, на кого указывал перст, послушно поднимался и говорил о наболевшем.

— Надо собирать жёлуди! — растрёпанный господин достал из кармана жёлудь. — Прошу не перебивать! Жёлуди надо собирать теперь, когда они созрели. Конечно, не все подряд, что за глупость! Прошу не перебивать! Жёлуди с заповедного дуба в селе Константиново. Дуб Есенина. Собирать жёлуди и по всей России растить дубравы. И тогда в каждой русской земле появится свой Есенин! Я писал об этом президенту. Нет ответа! Прошу не перебивать!

Но его перебил сосед с окладистой бородой, в жилетке, на которой висела цепочка карманных часов:

— Пора добраться до сути, господа! Сколько лет бьюсь, чтобы городу Тутаеву вернули исконное имя “Романов-Борисоглебск”! Кто такой Тутаев? Мелкий большевик, расстрельщик! Пока город зовётся “Тутаев”, дома в нём гниют и горят, крысы загрызают младенцев, по Волге плывут утопленники! Напишем коллективное письмо президенту!

Ему не дал завершить свою речь маленький пылкий человек с сияющей лучистой звездой на сюртуке. Звезда была церковной наградой и сияла, как ёлочное украшение:

— Вернёмся к истокам, господа, вернёмся к истокам! Вся скверна от английского языка, который наводняет русские умы пакостями и нигилизмом. Вместо уроков истории и английского станем изучать в школах святоотеческое предание и церковнославянский язык! “Иже приидоха оное, и въздыхаха исчислим бысть”! — господин со звездой сел, продолжая читать наизусть “Повесть о Петре и Февронии”.

Мимо плыл восхитительный Кремль, похожий на ночное зарево. Ослепительно среди чёрного неба сверкали дворцы и соборы. Василий Блаженный казался блюдом с невиданными плодами из райского сада, отекавшими медовой сладостью. Агеев слушал речения патриотических лидеров, веря в волшебную силу Таблицы, способную пробудить в каждом животворящие “русские коды”. Превратить этих милых и взбалмошных людей в творцов и мыслителей.

— Нам нужно всем, от мала до велика, повторяю, от мала до велика, обратиться с общей молитвой к Господу о ниспослании благодати нашей матушке России! Но, повторяю, всем, от мала до велика, в единый час, лучше ночью, ибо ночная молитва скорей доносится до ушей Господа! — Говоривший это болезненный господин держал в руке бокал с вином, который осушил, завершив выступление.

— Могу показаться еретиком или даже язычником, или даже святотатцем! Но моя идея, ввиду нехватки русских людей и повсеместного их вымирания, моя идея состоит в том, чтобы выращивать русских людей в пробирках, и она весьма актуальна. Но, конечно, под наблюдением Церкви! Только под наблюдением Церкви! — На оратора, который произнёс эти неожиданные слова, тут же зашикали, стали усаживать на место. Но тот вырывался, выкрикивая: — Под наблюдением Церкви! Под пристальным наблюдением Церкви!

Из-за столов поднимались один за другим представители “Русского сообщества”. Каждый высказывал наболевшие мысли, с которыми он оббил не один порог, исписал не один лист прошений. Крепкий осанистый господин с тяжёлой бородой и гневными бровями требовал от России немедленного союза с Германией, что поставит на место Америку и Китай и создаст новый центр небывалой силы. Другой, аскетического вида, с провалившимися щеками и монашескими волосами, требовал канонизации мученика Григория Распутина, убитого по наущению иудеев и англосаксов.

Поднялся господин, свежий, с румяными щеками, с бакенбардами и усами, как у Александра Второго.

— Полно лукавить, милостивые государи! Мы знаем причину всех русских бед. Без царя в голове и без царя на троне русский человек дурак, смутяня и пьяница. Пора русским людям сойтись на Собор и, как встарь, в годину ненастья, выбрать царя из народа своего. Мы знаем, кем будет новый русский царь! Поднимем бокалы за будущего русского царя Григория Афанасьевича Проклова! Ура!

Все дружно вскричали “Ура!” Кто-то запел: “Боже, царя храни”. Кто-то пошёл из-за столов к Проклову, неся впереди полный бокал. Агеев слышал, как под сердцем волнуется и дышит Таблица. Каждый код, каждая золотая частица стремилась навстречу этим милым искренним людям, прекрасным в своей наивности и беспомощности. Таблица преобразит их, сделает могучими творцами и ясновидцами, как мечтает об этом прекрасный человек, новый друг Григорий Афанасьевич Проклов. А будет ли он царём, или вождём, или президентом, — не суть важно. Лишь бы Россия при нём цвела. Лишь бы Таблица послужила чудесному воскрешению.

Яхта “Витязь” миновала Котельническую высотку, приближалась к Ново-Спасскому монастырю, усыпальнице рода Романовых. Шлем богатыря на носу корабля золотился. Синие глаза воина грозно взирали на монастырские стены и главы церквей.

Пётр Дмитриевич увидел, как яхту догоняет другой корабль, не меньших размеров, на носу которого краснела разъятая пасть дракона с белыми зубьями. Драконьи глаза ненавидяще смотрели, чёрные, с серебряными белками. На борту виднелся китайский иероглиф. Верхняя палуба была озарена. На ней совершалось таинственное действо. Дракон поравнялся с “Витязем”, и они плыли теперь борт о борт.

— Что это? — спросил Агеев, опасаясь столкновения.

— Корабль сатаны, — ответил Проклов. — Принадлежит китайскому миллиардеру Линь Бяо, торговцу русским лесом. А также, как мне известно, промышляющему синтетическими наркотиками и проституцией. Под покровительством московских властей. Приглашает к себе на яхту представителей либеральных кругов. Похоже, и теперь они там.

На палубе Дракона стояли красные ширмы, расписанные цветами и птицами. Виднелась фаянсовая ванна, похожая на раковину. На палубу выскочил танцор, голый, в набедренной повязке, с играющими мышцами плеч, груди, ног. Его лицо, ярко раскрашенное, напоминало маску дракона, — красный зев, клыки, пылающие глаза. На голове — два козлиных рога, перевитые серебром. Звучала восточная музыка. Танцор извивался, подпрыгивал, страстно оглаживал бедра. Повязка волновалась, под ней взбухала возбуждённая плоть.

Вдруг Агеев узнал в танцоре режиссёра Эраста Богоносцева. Его ястребиный клюв вращался во все стороны, словно искал добычу.

— Главный сатанист! — Григорий Афанасиевич осенил себя крестным знаменем. — Его яхта — гнездо сатаны.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как ядовитые языки с драконьей яхты лижут витязя в золотом шлеме, обжигают, смывают позолоту. Как тяжело становится сердцу, и Таблица начинает трепетать, сердце, сбиваясь с ритма, бьётся невпопад, танцует под чужую тлетворную музыку.

Члены “Русского сообщества” столпились у борта, взирали на бесстыдный танец. Раздался робкий возглас:

— Позор!

Эраст Богоносцев приблизился к фаянсовой ванне. Кружил, тянул к ней руки, впрыскивал незримые энергии, всыпал таинственные снадобья. Его магический танец призывал духов, и Агеев слышал посвист невидимых крыльев, удары ветра от пролетавших незримых существей. Над ванной стал подниматься пар, появились перламутровые пузыри. Ванна бурлила, пенилась. Пена через край изливалась на палубу. Из пены медленно стала появляться женщина. Лица её не было видно, только волосы, собранные на затылке в рыжий пучок, гибкая шея, обнажённые плечи, округлые ягодицы и бедра. Женщина перешагнула край ванны, повернулась. Это была Ксения Фалькон во всей своей пленительной наготе. Глаза её были закрыты, рот слабо улыбался, она спала. Рождённая из перламутровой пены, ещё вся там, где обитают невоплощённые духи, она была явлена в мир света и звуков из мира теней.

Члены “Русского сообщества” заворожённо созерцали обнажённую красавицу. Некоторые полезли за очками. Кто-то беспомощно крикнул:

— Позор! — И осёкся.

Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон танцевали эротический танец. Любownik привлекал к себе беззащитную красавицу, целовал в губы, лобзал грудь. Падал на колени и принимал лицом к её животу, бедрам, жадно вдыхал женские ароматы. Она пробуждалась, раскрывала глаза. Бедра её начинали дышать, колыхались. Она поднимала колено, перебрасывала ногу через голову жениха. Впивалась вишнёвыми ногтями в его лицо, царапала до крови. А тот стонал, щекотал рожками её соски. Наконец, оба упали на палубу, свивались узлом, распались. Ксения Фалькон вырвалась из-под неистового возлюбленного, и сама оседлала его. Мчалась верхом на Эрасте Богоносцеве, била пятками, драла когтями. Её груди металась из стороны в сторону.

Пучок волос распался, и космы развевались, как рыжий огонь. Музыка вторила визгам, воплям. Цветы и птицы на красных ширмах волновались, хотели взлететь.

Члены “Русского сообщества” навалились на поручни и кричали:

— Позор! Позор!

Господин, что ратовал за детей в пробирке, одиноко воскликнул:

— Bravo!

Но тут же был остановлен товарищами.

Танец на палубе завершился откровенным соитием, с воплями, бесстыдными позами. Любовники с великой неохотой распались. Ксения Фалькон опустилась в фаянсовую ванну, исчезла в пене, и ванна улетучилась, возвратилась в мир теней. Эраст Богоносцев схватил жестяной рупор, в какой кричат капитаны проходящих мимо судов.

— Вам, патриотические женихи, мы приготовили прекрасных невест! Каждая — как пушкинская мечта, Наталья Гончарова!

Эраст Богоносцев скрылся. Красные ширмы упали. На палубе появился десяток отвратительных старух. Были раскормленные бабы с раздутыми животами и чёрными пупами. Были тощие, костлявые, с длинными пустыми грудями, похожими на чулки. Были жирные старухи с жёлтыми, как дыни, грудями и вклокоченными седыми лобками. У многих беззубые рты провалились. У других рты не закрывались, полные вставных лошадиных зубов. Была одноногая бабка, которая опиралась на костыль. Была похожая на глыбу с раздутыми слоновыми ногами, чёрными от вздувшихся вен. У одних были медные халы, другие, облысевшие, заплетали волосы в седые косички. Третьи сделали модные причёски, из-под которых жутко выглядывали морщинистые лица, отёчные рты, обложенные ячменями глаза. Вся армада вывалилась на палубу, раскачивала тяжкие груди, трясла животами, топотала кривыми ногами. Казалось, вся эта жуть полезет через борт яхты, срываясь и плюхаясь в воду, стараясь дотянуться до изумлённых членов “Русского сообщества”. Те истошно кричали:

— Позор! Позор!

Агеев хотел убежать, скрыться. Ему разрывали сердце. Клюв Эраста Богоносцева проникал в грудь, старался достичь Таблицы, ударить в золотую Богородицу, рассыпать на частицы, расклевать, как золотые зёрна.

— Яко запыхахо изведахо исповедахо бысть, отнюдь! — глумливо крикнул в раструб Эраст Богоносцев.

Кинулся к борту, схватил рукоятки прожектора, который оказался лазером. Тонкий луч вырвался из трубки, ударил в борт “Витязя”. Скользнул на палубу, где скопились члены “Русского сообщества”. Вонзался в шورتки, в бороды, лбы. Пронзил звезду на груди церковного старичка. Впился в пиджак Проклова. Каждое попадание сопровождалось тихим хлопком и струйкой дыма. Так с тихим треском и завитком пара исчезают ночные насекомые, налетевшие на спираль обогревателя.

Проклов не оставил без ответа лазерную атаку Дракона. Гибкий, виртуозный, как киноактёр чёрно-белого фильма, включил бортовой лазер, направил разящий луч в сторону пиратского корабля. Великолепный, бесстрашный, покоритель дамских сердец, любимец публики, непревзойдённая звезда чёрно-белого экрана, он стал косить направо и налево старух, рассекая их отточенными лезвиями. Старухи распались на куски, и каждый кусок продолжал танцевать. Отдельно животы, отдельно мясистые груди, отдельно головы с медными шиньонами. Танцевал костыль. Подпрыгивала в воздухе старушечья голова с каменными зубами.

Вся дуэль проходила на воде, вблизи монастырских стен и тусклых золотых куполов усыпальницы Романовых. Дракон не выдержал удара русского “Витязя”. Развернулся и ушёл в сторону Кремля. Музыка затихала. Рассечённые тела старух мало-помалу пропадали.

Агеев поздравил Проклова с победой в небывалом морском сражении.

— Не впервой! — с некоторой бравадой ответил Григорий Афанасьевич. Его пиджак во многих местах был прожжён уколами лазера. На что и указал Пётр Дмитриевич:

— Жаль пиджак. Видно, итальянский.

— Ничего, надену английский. Главное не пиджак, а бронежилет, — Проклов распахнул полу, показывая Агееву непробиваемый бронежилет. Члены “Русского сообщества” поздравляли Григория Афанасьева с внушительной победой. Пётр Дмитриевич гордился тем, что участвовал в битве с сатаной, и Таблица защитила его сердце от смертоносного сатанинского лазера.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич сладостно вспоминал, как в сумерках, расставаясь с Ириной, поцеловал её чудесные пушистые брови. Не решился поцеловать глаза и близкие губы. И теперь хотел новой встречи, чтобы поцеловать милые брови, закрытые глаза, дышащие губы. Он не мог забыть того волшебного преобразования, когда Ирина, словно над ней пролилась волна света, вдруг стала драгоценной, родной, желанной. А потом волна истаяла, и он, ошеломлённый, не знал, что это было. Какая близость между ними возникла. Куда повлекло их обоих, ставших вдруг неразлучными.

— Хочу вас увидеть, — Пётр Дмитриевич прижимал к телефону губы и мысленно её целовал. — Боялся вам звонить.

— Как я рада вашему звонку! Я слышала о ваших огорчениях. Мне хотелось кинуться к вам, быть рядом с вами. Но не решалась. Не знала, уместно ли это.

— Конечно, уместно! — Пётр Дмитриевич взволнованно слушал её обожаемый голос. — Уместно нам немедленно встретиться.

— Где?

— Есть турецкий ресторан на Смоленской площади, — предложил наугад Пётр Дмитриевич. — Приезжайте.

— Хочу повести вас на одно удивительное представление, — произнесла Ирина, принимая приглашение. — К людям, которые восхищаются вами. Видят в вас учителя, светоча. Хочу, чтобы вы оказались среди друзей и поклонников, и ваши огорчения миновали.

— Минуют, как только увижу вас.

Перед входом в турецкий ресторан стояли два медных быка. Один нацелил рога на здание МИДа, будто хотел боднуть, перекинуть его через спину, за Москву-реку. Другой бык был разъярён памятником Примакову, нелепо поставленным и раздражавшим не только быка, но и многих прохожих.

— Зачем быки? — спросила Ирина, рассматривая карту меню. На ней был зелёный жакет, в ушах — золотые серёжки с крохотными изумрудами, на шее — кулон с зелёным камнем. Всё для того, чтобы в серых глазах мелькнула зелёная искра. И Пётр Дмитриевич представил, как, готовясь к встрече, она смотрела в зеркало, подбирая кулон и серьги.

— Вы про быков? Раньше здесь было целое стадо. Но пошло на стойки. Осталось два последних быка.

— Тогда нам надо успеть с заказом, — засмеялась она.

Официант, молодой бакинец, не отличимый от турка, принял заказ. Скоро перед ними на деревянных дощечках, окружённые парными овощами, лежали плоские стойки. Пётр Дмитриевич любовался, как Ирина своими длинными пальцам держит вилку, осторожно отсекает лепесток сочного мяса, запивает белым вином. Бережно подносит бокал к влажным, таким желанным губам.

— Не знаю, кто может вас преследовать, ненавидеть? Кто может хотеть вам зла? Вы исполнены добра. Вам открылось удивительное, доброе знание. Кому вы досаждаете? — Ирина не упоминала об отвратительном нападении, не касалась убийства космиста и поджога церкви. Она хотела убедить Петра Дмитриевича в том, что причиной нападения был не он, не его доброе благодарное сердце. — Какие у вас враги?

— У меня нет врагов, как, впрочем, нет и друзей. Но какие-то злоумышленники охотятся за Таблицей, как за секретным оружием массового

уничтожения. Но Таблица — оружия массового воскрешения. Её нужно не бояться, а беречь и лелеять.

— Какой удивительный дар вы получили! — восхитилась Ирина. — Я всё хочу понять, как вы добываете “русские коды”? Как старатель, который моет золотой песок и отыскивает самородки в “реке русского времени”? Или вычитываете о них в летописях, пушкинских стихах? Собираете, как рассыпанные по земле монеты?

Петра Дмитриевича трогал её наивный интерес к самому важному, что его занимало. Она видела в нём творца, преклонялась перед его даром.

— Как я открываю “коды”? Это не объяснить. Они даются свыше. Знаете, высоко в горах, где воздух разрежён, геофизики ставят ловушки космических лучей. Космическая частичка залетает в ловушку, оставляет крохотную вспышку и тем самым себя обнаруживает. Так и я: лежу в полусне и жду, когда в сердце ударит невидимая золотая частичка. “Русский код”, который я извлекаю из сердца и помещаю в Таблицу.

— Я знаю, все эти “коды” пропущены через ваше сердце. Поэтому они чудодейственны. — Ирина испугалась своей пылкости и убрала руку, которой хотела коснуться руки Агеева. — Вы рассказали, как открыли “код Пересвет”. Узнали, что русские — “народ Пересвет”. Вы шли к Пересвету через леса и овраги. Вас влекла какая-то сила.

— Россия — место, где силы земные переходят в силы небесные. На Брянщине родился Пересвет, земной человек, который стал святым, человеком неба. На Брянщине родился Тютчев, который увидел Россию святой землёй, предтечей Небесного Царства. На Брянщине есть лесная поляна, которую зовут “Партизанской”. — Пётр Дмитриевич вспомнил просторную, пахнущую хвоей поляну, уставленную обелисками с именами партизанских отрядов, списками бойцов, погибших в петле и под пытками. — Во время войн, когда в Россию приходит враг и сокрушает государство, русский народ уходит в леса. Точит топоры, поёт: “Шумел сурово брянский лес”, выходит с отточенными топорами на опушку и прогоняет врага. Иван Сусанин, заманивший поляков в дебри, был партизаном. Денис Давыдов, гулявший по французским тылам, был партизаном. Минин и Пожарский, пришедшие спасти Москву, были партизанами. Все сегодняшние русские люди, которые против воли проклятой власти сберегли оборонные заводы, военные секреты, бесценные технологии, — это партизаны. Русские — это народ-партизан. Ещё один “русский код”!

Пётр Дмитриевич одаривал Ирину своими откровениями. Видел, как она восхищается, как благодарна ему. Он любовался блеском её глаз, в которых вдруг вспыхивали зелёные искры.

— Вы так много видели, чувствовали. У вас такая богатая жизнь. Странствия, увлечения. Вы любили? У вас была жена? Любимая подруга?

Ему вдруг захотелось поведать Ирине свою жизнь. Ни с кем, никогда он не был откровенен, не делился ожиданиями, разочарованиями, мечтами. Разве что деревенская старушка тётя Поля в зимние вечера, когда за окном шелестит метель и половик от порога к печи тихо светится полотняным узором, только она была его слушательницей.

— Мне кажется, всю жизнь я любил одну и ту же женщину. Несуществующую. В детстве влюбился в девочку, генеральскую дочку. Видел, как она кидает мяч о стену, перепрыгивает и ловит. На одну секунду, когда мяч летел, и она схватила его, и её лицо стало прекрасным, и волосы колыхнулись, я влюбился в неё до обморока. Через секунду любовь прошла. А потом генерал уехал из нашего дома, и я её больше не видел. После выпускного бала я повстречал девушку у Москва-реки. Сидели на скамейке, и я поцеловал её. Она подарила мне стеклянные синие бусы, и я влюбленно целовал эти бусы. А потом она исчезла и исчезла любовь. И я думаю, помнит ли она восход над Москва-рекой, робкого юношу, которому она вручила синие бусы? Где она? Есть ли у неё дети? Рассказала ли она кому-нибудь о том поцелуе? Когда жил в деревне, полюбил молодую женщину Веру. Она мне казалась ведуньей, Бергиней. Были первые синие подснежники, была ночная река, плывущий по воде вещей огонь. Был одурманивающий запах черёмухи, соловьи. Были

обожание, любовь. Она уехала из деревни, не простившись, и кончилась любовь. И так всегда. Видно, не нашёл ещё “код любви”. А вы нашли?

Эти воспоминания были сокровенными, принадлежали ему одному. Но теперь он пустил её в свои воспоминания, и она вошла и обрела странную власть над ним. И он не пугался этой неслышной власти, был рад поинноваться.

— Должно быть, плохо искали “код любви”, — она произнесла это тихо, закрыв глаза, словно вино, которое она пила, опьянило её.

— Мне показалось, что между Фаддеем и вами что-то есть, — он спросил об этом невольно, досадуя на себя за это недостойное выпрашивание.

— Да что вы, нет ничего! — она живо возразила и, казалось, была обрадована этому робкому выведыванию. — Фаддей Аристархович ко мне очень внимателен, консультирует мои работы. Он большой знаток русской культуры. “Русолог”, как он себя называет. Ведь это он меня познакомил с вами. Для меня быть с вами счастье.

— Это опасно. За мной охота. Всех, кто близок ко мне, постигает несчастье. Убит русский космист Богданов. Сожжена церковь, где служит мой друг отец Андрей. Быть может, лучше нам не встречаться?

— Быть с вами рядом — счастье. Видеть вас, учиться у вас, помогать вам в ваших трудах. Я ваш громоотвод. Пусть молнии бьют в меня, а вас минуют. Вы сказали, что носите Таблицу под сердцем. Враги хотят вырвать Таблицу из вашего сердца. Передайте её мне. Я стану носить её под сердцем, и враги её не найдут.

Ирина качнулась к нему. Пётр Дмитриевич увидел зелёный медальон на её груди. Представил, как прижмёт своё сердце к её сердцу, и Таблица перельётся из одного сердца в другое, как переливается из чаши в чашу золотой мёд.

— Нет, нет! Я уж совершил непоправимую ошибку. Передал Таблицу коту Кузьмичу, и он погиб. У него мучители вырывали Таблицу, но он не выдал меня. Не хочу, чтобы вы попали в руки мучителям.

— Не относитесь ко мне, как к слабой женщине. Я хочу быть вашим соратником, помощником и защитником. Ваш долг перед Россией, перед нашим многострадальным народом — сберечь Таблицу и совершить чудо русского воскрешения, Чудо русской Пасхи.

— Хочу передать мою Таблицу президенту, чтобы он своей державной волей совершил воскрешение. Не знаю, как рассказать президенту о Таблице, добиться с ним встречи. Но мне кажется, она состоится.

— Иногда становится так тяжело на душе. Такие спускаются сумерки и уныние. Что делать в такие минуты?

— Я не советчик. Делюсь моим опытом. Когда невольно, кругом одна тьма и уныние, я представляю себе весенний золотой одуванчик, — цветок русского рая. Читаю строки Пушкина: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, // на утренней заре я видел Нереиду”. И произношу имя “Сталинград”. Мои мышцы становятся стальными, сердце — огненным, а глаза — ясновидящими.

— Как великолепно вы сказали! Вы сами, как золотой одуванчик, — цветок русского рая!

Они покинули ресторан. Ирина погладила рога медного быка. Агеев не слишком удачно пошутил на тему “Похищения Европы”.

Представление, куда зазывала Петра Дмитриевича Ирина, являло собой, к великому его изумлению, байк-шоу. Представление устраивал известный байкер Хирург, объединивший вокруг себя множество отважных и лихих мотоциклистов, которые на грохочущих “Ямахах”, с пылающими фарами и яростной музыкой носились по дорогам, будя сонных обывателей, пугая власти сталинскими портретами и лозунгами, внушая ужас либералам своей патриотической неистовостью, когда простолоудины оседлали раскалённые моторы и носились, как стая ревущих волков. Они так и называли себя: “Ночные волки”. Но с некоторых пор, по утверждению Ирины, они познакомились с вероучением Петра Дмитриевича и стали называться: “Волки русской мечты”.



Представление давалось на заброшенном пустыре, в промзоне, на окраине Москвы. Кругом тянулись железнодорожные пути, руины заводов, ржавые фермы. В сумерках высилась уродливая конструкция, напоминавшая Вавилонскую башню: нагромождение каких-то цистерн, сломанных подъёмных кранов. У подножия башни шло движение, подъезжали машины, пробирались в толпе мотоциклы. На земле сидели тысячи людей, напоминавших кочевое племя, опустившееся на отдых, чтобы потом снова тронуться в путь.

Ирину и Петра Дмитриевича встретил Хирург. Он подкатил на ревущем мотоцикле в сопровождении десятка сподвижников. Они поколесили вокруг и встали стеной, рыкая моторами, сверкая хромом, огнями. Хирург слез с мотоцикла и приблизился к Петру Дмитриевичу. Он был похож на витязя в кожаном доспехе с наплечниками, пестрел вышивками, среди которых виднелся оскаленный волк. Хирург был высок, черноволос, красив. Лицо, властное и одухотворённое, казалось одновременно благодушным, почти застенчивым. Глаза огненные. В них была сверкающая точка, словно отражение звезды, которая влекла его. Он срывался с места и на своём мотоцикле был готов мчаться до океана и дальше, перескакивая с волны на волну.

— Для меня огромная радость увидеться с вами, Пётр Дмитриевич. — Хирург жал Петру Дмитриевичу руку, не отпускал, хотел продлить прикосновение, чтобы вдоволь напитаться мудрыми и вещими силами. — Мои люди и я считаем вас духовным лидером. Нашим духовным волхвом. Я бы взял вас в наш пробег по Колымскому тракту. Чтобы, как вы говорите, Колыма проклятая стала Колымой благодатной. Я читал вашу работу о “русском коде”, превращающем тьму в свет, поражение в Победу.

— Россия нужна Господу, потому что превращает тьму в свет. При этом теряет миллионы своих сыновей и дочерей. В этом доля России. Но она не может отказаться от этой доли. — Агеев был смущён, поражён таким душевным приёмом. Он не мог предполагать, что его редкие статьи получают такое мощное толкование, обретут столько великолепных сторонников. Он благодарно смотрел на Ирину, которая видела его радостное изумление и улыбалась.

— Мы устраиваем это байк-шоу специально для вас, Пётр Дмитриевич. В нём воплощён ваш образ.

— Какой же?

— Вы писали о волшебном Сталинградском фонтане. Он является символом Сталинградской победы.

— Да, я писал об этом. Воистину, волшебный фонтан.

— Фонтан, построенный до войны, изображает крокодила, вокруг которого танцует хоровод пионеров. Не даёт чудищу вырваться за пределы хоровода. Вы писали, что пионеры — это новое человечество, а крокодил — мировое зло.

— Да, зло кромешное.

— Когда немцы совершили чудовищный налёт на Сталинград и превратили его в руины, они хотели разбомбить этот волшебный фонтан. Вы так писали.

— Гитлер знал, что из фонтана бьёт святая вода. Вода русского бессмертия. И он велел уничтожить фонтан.

— Но пионеры, без ног, без голов, продолжали держаться за руки и вели хоровод, не выпуская чудище из кольца. Под Сталинградом погиб мой дед. Он тоже вместе с пионерами кружился в хороводе, не выпуская фашистов из окружения.

— Крокодил — это Шестая армия Паулюса. Хоровод — кольцо окружения. Пионеры — это соединённые Донской и Сталинградский фронты. И там ваш дед, павший где-то у хутора Бабурки.

— Моё представление называется “Сталинградский фонтан”. Я правильно передал вашу мысль?

— Этот фонтан сейчас восстановлен. Из него бьёт вода. Это святая вода. Люди её пьют, омывают лица, и в них вселяется свет павших героев.

— Всё, как в нашем сценарии! Хочу вас и Ирину посадить на почётное место, чтобы народ видел своего вдохновителя.

Петра Дмитриевича и Ирину посадили на мотоциклы. Пётр Дмитриевич поместился за могучей спиной Хирурга, держась за его кожаные доспехи. Они пробрались сквозь толпу. Молодёжь приветствовала их возгласами: “Сталинград! Сталинград!” Пётр Дмитриевич и Ирина сели в ложу, сбитую из досок и железных листов. Внимая рокоту, гулу толпы, приготовились смотреть представление.

— Видите, как вас любят? — Ирина наклонилась к Агееву, и он снова уловил восхитительный запах её волос. Зелёный изумруд вспыхнул и погас у самых его губ. Все огни, освещавшие пустырь, враз померкли. В тёмном небе возвышалась уродливая громада. Ни светлячка, ни звука. Только слышался далёкий прибой города, вой проходящей вблизи электрички.

Среди мёртвых конструкций затлеел огонёк. Рядом другой, третий. Ахнула, как удар с неба, громоподобная музыка, от которой заломило в ушах. Сверкнули ядовитые лазеры, похожие на ракетные трассы. Польшнули прожекторы, прожигая слепящие дыры. Громада ожила, задрожала, изрыгая пламя, отекая расплавленными ручьями. В чёрных провалах багровел адский огонь. Музыка грохотала, как орудийные залпы. Лучи скользили по толпе, выхватывали жертвы, уносили вглубь адской горы, где что-то горело, как в крематории, плавилось, как в тигле, бесследно сжигалось.

Агеев был оглушён, ослеплён. Заслонялся руками. Боялся, что ядовитые лучи нацупают его и Ирину, выхватят из ложи и унесут вглубь горы, где кипит котёл преисподней. Таблица под сердцем молчала. Погасла, пугливо спряталась. На ней не вспыхивала ни одна золотая частица.

Появились неистовые мотоциклисты. Разгонялись, брызгая пламенем. За их спинами бушевали чёрные плащи. Они взмывали, как духи тьмы, влетали в чёрные провалы башни, и там ахали взрывы, загорались красные глазницы. Башня была оплотом тьмы. Несокрушимая, господствовала в мирозданье, поливала мир карающими огнями.

Ирина была испугана. Прижималась к Петру Дмитриевичу, искала у него спасения. Среди мятущихся духов тьмы стали мелькать серебряные вспышки. Мотоциклисты, облачённые в сверкающие одежды, в белых плащах, взмывали и неслись навстречу крылатым демонам. Два крылатых войска сталкивались в вышине, обменивались ударами. Серебра становилось больше. Чёрная рать отступала. Башня содрогалась, начинала крениться. Агеев чувствовал, как ожила под сердцем Таблица. Из неё излетали сверкающие частицы, вонзались золотыми стрелами в демонов, сшибали наземь.

— Помогайте! Помогайте! — Ирина схватила Петра Дмитриевича за руку. — Мы должны победить!

Из чёрной башни выползал змей. Его глаза горели жестокими рубинами, толстое туловище отливало синей сталью. Это был Царь Тьмы, змей преисподней, который вылез из логова, чтобы покорить мир. Серебряные мотоциклисты носились вокруг змея, замыкали в сверкающее кольцо. Змей старался разомкнуть кольцо, но сияющие наездники били его копытами. Таблица под сердцем Агеева сверкала, переливалась, в ней бушевало золото. Бессчётные золотые частицы излетали, неслись, сверкали золотом на копытах бесстрашных наездников. Змей свернулся в отвратительный узел и канул. Вспыхнул горячий свет. В победных лучах неслись небесные мотоциклисты, как серебряные ангелы. Чёрная громада озарилась. Она была куполом дымящегося рейхстага. На куполе развевалось алое знамя.

Из темноты, из дыма и гари возник белоснежный фонтан. Восхитительные пионеры, взявшись за руки, неслись счастливым хоромом. Из фонтана ударила ввысь вода, переливаясь алмазами. Опала радужным дождём. Кропила мотоциклистов, ликующих зрителей, Ирину и Петра Дмитриевича, которые сидели, взявшись за руки.

— Я говорила, мы победим! Таблица победит! Сталинград победит!

Тысячная толпа хлопала, свистела, скандировала: “Сталинград! Сталинград!” В луче прожектора появился Хирург. Он казался сияющим витязем. Его голос гремел, как поднебесная труба:

*Мы русские мечтатели.  
Мы русских кладов дивные искатели.*

*Наш Крымский мост подобен Млечному пути,  
И пламенный мотор поёт у нас в груди.*

*В своих мечтаниях всегда мы правы.  
Мы на земле посадим райские дубравы,*

*И будет нам нетленная награда —  
Божественный фонтан, святыня Сталинграда.*

Агеев был счастлив. Он любил Хирурга. Любил волшебный фонтан. Любил ликующих людей. Любил Ирину, которая счастливо обнимала его.

Пётр Дмитриевич провожал Ирину домой. Сретенка, сверкая ресторанами, витринами, нетерпеливыми огнями машин, осталась в стороне. Они шли переулками и тихими дворами, путями, известными только Ирине. Пётр Дмитриевич удивлялся, что прежде не хаживал этими милыми улочками, не проходил тесными подворотнями, оказываясь в старинных московских дворах, где пахнет травой, остывающими железными крышами, где жёлтые окна с оранжевыми абажурами, в открытых форточках звучит музыка. Ирина вела его нехожеными путями, и всё казалось чудесным. Было продолжением близости, которая, однажды возникнув, превратилось в несказанное счастье. Они проходили мимо ампириного особнячка. Медовый фасад с белыми колоннами. Фронтон с лепным гербом. Чёрная ограда, сквозь которую особняк казался нежным и трогательным. Внезапно со стороны особняка на ограду кинулись две разъяренные овчарки. Хрипели, бросались на железные прутья. Сверкали клыки, краснели мокрые языки. Пётр Дмитриевич отшатнулся:

— Откуда собаки?

— Они не представляют опасности. Им не перепрыгнуть ограду. Здесь какое-то учреждение. Чья-то резиденция. Или маленький банк.

— Видимо, есть что скрывать. — Петру Дмитриевичу хотелось поскорее миновать злобных псов, своим хрипом нарушивших очарование прогулки.

Они подошли к её дому. Пётр Дмитриевич увидел квадраты горящих окон, которые складывались в букву “М”, и он мимолетно вспомнил другой фасад на Старой площади, Фаддея, сбивавшего золочёную надпись, и букву “М”, которую поднял с асфальта Пётр Дмитриевич.

Лифт был тесный, старомодный, с деревянными створками. Они стояли, почти прижавшись друг к другу, и Агеев подумал, что Таблица может перейти к ней, от сердца к сердцу. Лифт дрогнул и встал. Ирина достала из сумочки ключи, гремела в дверях, и Петру Дмитриевичу хотелось, чтобы дверь не открывалась как можно дольше и чтобы он слышал звяканье ключей в её руке.

Дверь раскрылась, Петр Дмитриевич шагнул вслед за Ириной в темноту прихожей, которая дохнула на него множеством домашних ароматов. Среди них он уловил тот, что исходил от её волос. Ирина что-то сказала, но он не расслышал, обнял её сзади, чувствуя, как она прижалась к нему спиной. Так, обнявшись, они прошли в темноте, где сверкнуло зеркало, на стене шевельнулась тень дерева. Его острое, ставшее ночным зрение разглядело кровать, выпуклость накрытой покрывалом подушки, столик с мерцающими флакончиками. А потом он закрыл глаза и видел сквозь веки белизну её рук, обведённую тенью грудь, колени, которые она поднимала, переступая упавшую юбку. Они ещё стояли, качались, а потом полетели в бесконечную глубину, и он прижимался к ней грудью, и Таблица, как расплавленное золото, переливалась из его сердца в её, и обратно, и снова истекала из него и вливалась в неё, пока вдруг не полыхнуло, зажглась огромная люстра, которая стала гаснуть, осыпалась бесчисленными золотыми мерцаниями, и они лежали под звездопадом. Таблица, как остывающий слиток, вернулась в его сердце.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич через день, через два всё вспоминал ту чудесную ночь. В ней проступали одно за другим видения, которые тогда ускользнули. Лишь мельком задержались в дрожащих полузакрытых глазах. Теперь же всплывали, поражая своей драгоценной явью. Он помнил её стопу с гибкими пальцами, когда она выходила из вороха упавшей на пол одежды. Помнил огромные глаза, которые занимали половину лица, а потом всё лицо. Больше не было лица, а только огромные, глядящие мимо глаза. Помнил, как зеркало вдруг утратило свой чёрный блеск, наполнилось белизной. Она сидела, поправляя на затылке волосы, с гибкой ложбиной от лопаток до бёдер, и он подумал, что она похожа на греческую амфору. А потом белизна исчезла, и зеркало наполнилось чёрным блеском.

Пётр Дмитриевич замечал, что он улыбается и что-то шепчет, милое и бессмысленное, как детская считалка. И при этом думает об Ирине. Он черпал эти воспоминания, как черпают пригоршнями воду и омывают лицо. Целовал эти воспоминания, возвращал туда, откуда они явились. А потом снова бережно вычерпывал, и она сидела, отражаясь спиной в зеркале, и он радовался её сходству с греческой амфорой.

Но среди этого обожания, счастливого изумления Агеева не оставляла тревога. Он чувствовал, что за ним наблюдают. Чьи-то чужие глаза смотрят на него из толпы, из-за углов, из зарослей кустов, из ночного окна, из пролетавшего автомобиля. Иногда ему казалось, что он замечает усачей, что следили за ним возле храма отца Андрея и в турецком ресторане. Иногда эти наблюдатели маскировались под обычных прохожих, которые почему-то следовали за ним до дверей магазина, не оставляли, когда он ходил вдоль прилавков. Этих разведчиков интересовала Таблица. Им было важно знать, что она находится у сердца Петра Дмитриевича. Таблица дышала, излучала тончайшие волны, разведчики ловили эти излучения и в любой момент могли навести ракету, которая разорвёт ему сердце вместе с драгоценной Таблицей.

Он жил среди этой чудесной влюблённости и невнятной тревоги.

Московская осень медленно вливалась в город тихой желтизной, золотым свечением воздуха, астрами на клумбах, обилием загорелых прохожих, множеством шумных, как гомонящие птицы, первоклассников с горбатыми ранцами. И вдруг прошёл ночной тяжёлый дождь, и город проснулся среди мокрого золота, жёлтых, упавших на чёрный асфальт листьев, шипящих автомобилей, похожих на пятнистых леопардов, — столько прилипло к ним листья. И теперь ночами город становился чёрным зеркалом, в котором плыли огни, фары, красные и зелёные рекламы, золотые витрины, бриллиантовые гирлянды. Всё это всплывало из чёрной глубины, змеилось, волновалось, взрывалось ослепительными вспышками пролетавших кортежей, уносивших из Кремля утомлённых за день правителей на их подомённые виллы.

Пётр Дмитриевич стоял среди своих любимых деревьев под мелким дождём, глядя, как ветер вычёсывает из берёз жёлтые ворохи, посыпает ими могилу кота Кузьмича. На грудь ему опустился резной лист клена. Агеев бережно снял лист и опустил на Кузьмичёву могилу. Сел в автомобиль и поехал в город, чтобы пополнить припасы в городском супермаркете.

Оставил машину на парковке и направился к магазину, уступая дорогу осторожно пробиравшимся автомобилям. Пропустил мимо женщину с сетчатой колесницей, в которой пестрела гора банок, пакетов, рыб, окороков, красных и зелёных перцев, отметив победоносное выражение женского лица. Вдруг снова, который раз за утро, подумал об Ирине, вспоминая, как она подносила к губам бокал вина, и глаза её смеялись, выглядывая из-за кромки бокала. Почувствовал, как приближается вихрь спрессованного звука. Взрывная волна толкнула железным ударом. Падая, увидел, как вплотную прошла чёрная громада, блеск бампера, сверкание стекол, хохочущее лицо, поднятые вверх кончики усов. Хохочущая смерть с хромированным оскалом прошла у виска, как снаряд. Ввинчивалась с воем вдале.

Пётр Дмитриевич упал навзничь, побывав по ту сторону жизни и снова вернувшись в мокроту, в свет, в крики. Его сердце дергалось, хлопало,

захлёбывалось. Сорвалось с оси и крутилось волчком, останавливалось и снова начинало ухать. Это билась Таблица, которую хотели вырвать из сердца, но сердце её не пустило. Теперь, почти вырванное с корнем, оно больно сжималось, падало и снова взлетало.

Кругом толпились люди. Слышались крики:

— Хулиганы! Номер, номер запомните!

— “Скорую”, нужно “скорую”!

— Наркоманы проклятые!

Пётр Дмитриевич чувствовал спиной холодный асфальт. Сердце подпрыгивало, как мячик. Он старался понять, цела ли Таблица или она разбита на куски, и эти куски бьются в нём, каждый отдельно.

Неожиданно быстро явилась “скорая”. Медики переложили Агеева на носилки, задвинули вглубь машины. Взревела сирена. “Скорая” понеслась.

— Здесь болит? Здесь болит? — медик ощупывал ноги, руки Петра Дмитриевича. — Где болит?

— Сердце, доктор, — пролепетал Пётр Дмитриевич.

Ему мерили давление. Сирена выла, крикала, улюлюкала. Фиолетовая вспышка расплескивала злые лучи. Это сердце истошно вопило, скакало, брызгало страхом.

— Ого! — сказал врач. — Вовремя вас подхватили!

Его привезли в больницу, в приёмный покой, к просторному лифту. Он оказался в отдельной палате и успел подумать, что это удача — рядом не будет других пациентов. Страх, сжимающая боль в груди делали его беспомощным, беззащитным, и не было других мыслей, кроме мысли о Таблице, которая могла погибнуть.

Пришёл врач, вкрадчивый, любезный, белоснежный, с прохладными чистыми пальцами. Прикасался стальной трубкой к груди, успокаивающе улыбался. И это означало, что Таблица на месте, её не сумели похитить.

Сестра подкатила тележку с кардиографом. Поставила Петру Дмитриевичу присоски на грудь, защемила запястья и лодыжки. Шелестел кардиограф. Доктор рассматривал ленту с синусоидами и всплесками. Кивал головой. Видимо, повреждения Таблицы были невелики. И хотя сердце продолжало скакать, Петру Дмитриевичу стало спокойнее.

Ему зарядили капельницу. Сначала проткнули вену и вставили катетер. Вогнали в катетер иглу. По трубочке потекло лекарство. Из флакона капала “живая вода”, и Агеев был благодарен врачевателям. Они окропляли Таблицу чудодейственной влагой, от которой в Таблице срастались трещины и повреждения. Сердце понемногу успокаивалось. Пётр Дмитриевич почувствовал облегчение и огромную усталость. Наблюдая мерную капёль, падающую из флакона, он задремал. Лишь изредка вздрагивал, вспоминая чёрную смерть, прошумевшую у виска, хохочущее лицо усача.

Снова появилась тележка с кардиографом. Врач смотрел кардиограмму.

— Мы восстановили вам ритм, но необходимо пройти ультразвук и коронарографию. Посмотреть состояние сосудов и сердца.

— Спасибо, доктор. Но там не только сердце, — произнёс Пётр Дмитриевич.

— А что ещё?

— Там Пресвятая Богородица.

— Ну, это понятно, — улыбнулся доктор. — Мы носим Бога в сердце своём.

Петра Дмитриевича посадили в коляску и повезли в кабинет, где доктор в зеленоватом облачении, с повязкой в половину лица, предложил ему проглотить гибкий жгут со змеиной головкой.

— Через пищевод мы приблизимся вплотную к сердцу и посмотрим, есть ли в нем патология.

— Только не пугайтесь, доктор, если увидите нечто необычное. — Пётр Дмитриевич предупредил любезного доктора не удивляться, если на экране вместо пульсирующего сердца возникнет софийская Одигитрия.

— Не удивлюсь, если у вас вместо сердца пламенный мотор, — пошутил врач.

Процедура была мучительной. Гибкая змея вползла в Агеева. Он задышался, его рвало, слёзы текли. Было страшно, что змея отыщет Таблицу и ужалит её. На экране монитора билось его испуганное сердце.

Предстояла новая процедура. Петра Дмитриевича раздели догола. Уложили на каталку и помчали по этажам и лифтам. Доставили в операционную, где сильные руки переложили его на операционный стол. Кругом двигались медики в зеленоватых одеждах. Их лица были закрыты масками. Только виднелись брови и зоркие глаза. Над головой Петра Дмитриевича располагался экран, ещё потухший. Агеев надеялся, что, когда начнется операция и в артерию ему введут зонд, на экране он увидит Таблицу. Голому телу было холодно. Ему ставили на грудь присоски, сжимали запястья и щиколотки прищепками. Вгоняли в катетер иглу, вводили раствор.

— Вы меня усыпляете? — спросил Петр Дмитриевич.

— Усыпляют кошек и собак, а вам вводят наркоз, — ответил врач.

Наркоз накатился, как тёплая волна. Он погружался в тёплую ванну. Все внешние впечатления исчезали, и возникали сновидения, какие случались с ним на грани яви и сна.

Он увидел бабушку, её любимое лицо, серебряную голову. Он сидит в детской кроватке, вытягивает голые ножки. Бабушка старается надеть розовые носочки, он шалит, сует ей ногу в лицо, а она не сердится, ловит ногу и целует в пятку. Ещё увидел утреннюю траву в сверкающей росе. Золотые, розовые, голубые искры. Поворотом головы он заставлял дуг переливаться, сверкать. Играл, разбрасывал бриллианты, испытывал несказанное счастье. Вспомнил, как в бледной синеве летела высоко крохотная тёмная уточка, словно стрелка, пущенная чьей-то волшебной рукой. Он смотрел на тёмную стрелочку, запечатлев её до смерти.

Наркоз вымывал из памяти пустой песок, оставляя самородки. Зажёгся экран. Пётр Дмитриевич улыбался, думая, что это сновидение. В надрез на запястье ему вводили гибкий зонд, который пробирался к сердцу, повторяя изгибы артерии. Сквозь зонд в кровь впрыскивали раствор, который превращался в облачко мути, наполнявшей сосуд. Становились видны стенки сосуда.

В полусне Пётр Дмитриевич слышал разговоры врачей:

— Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый...

— Достигая второй космической скорости, мы покидаем орбиту и включаем звездную навигацию.

— Ангел души моей...

— От Советского информбюро...

— Хорошо бы собаку кушать.

Пётр Дмитриевич наблюдал скольжение зонда в аорте. Всплывали байки деревенских мальчишек о загадочном волосе, обитавшем в тихой речке. Волос вшивается в запястье, проникает в тело и живёт там, питаясь кровью.

Врачи продолжали переговариваться. Было видно, как под повязками шевелятся губы:

— Есть женщины, сырой земле родные, // и каждый шаг их — гулкое рыданье.

— Я — “Гранит”! Я — “Гранит”! У меня два “двухсотых”! Пришлите “коробку”!

На голубоватом экране возникали тёмные пятна, как на поверхности синеватой луны.

Внезапно появилось сердце. Прозрачное, оно сжималось, расширялось, казалось космическим телом, плавающим в пустоте. Зонд проник в сердце, брызнул мутью. Но вместо чёрного сгустка сердце полыхнуло золотом. Экран засверкал, как алмазный дуг, и во всей божественной красоте возникла Богородица. Воздела руки, обращая ладони к Петру Дмитриевичу. От этих ладоней исходили дивные лучи, касались Агеева. Он целовал лучи, целовал Богородицу. Шептал: “Дево, радуйся”. Это была Таблица, незамутнённая, восхитительная, просиявшая в его сердце, как чудотворная икона.

Пётр Дмитриевич счастливо вздохнул и погрузился в полный сон, где не было ни тени, ни света, а одна пустота.

Он проснулся внезапно, словно его выкинуло из пустоты в явь. Лежал на операционном столе, опутанный проводками и трубками. Экран погас, тускло отсвечивал. Врачи склонились над ним. Их было трое. Они скинули повязки. Их головы почти касались. Они вглядывались в Петра Дмитриевича. На их лицах были усы. Жёсткие, колочей щёткой. Пушистые, переходящие в бакенбарды. Длинные, вразлёт, с загнутыми вверх кончиками. Это были усачи. Это они вгоняли зонд в его аорту. Они добирались до сердца. Они рассматривали золотую Таблицу. Агеев был во власти врагов, которые наполнили его кровь ядовитой мутью, обессилили его, и сейчас ему взрежут грудь, извлекут окровавленное, висящее на плёнках сердце и вырежут из него Таблицу.

Он готовился к мучениям. Но сильные руки перенесли его на каталку, и он, лицом вверх, помчался по коридорам, поднимался и опускаясь на лифтах, пока не очутился в знакомой палате. Его оставили одного.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В палате смеркалось. Пётр Дмитриевич находился в западне, в окружении врагов. Опасность была смертельна. И он решил прибегнуть к тактике “мёртвого жука”. Жук, застигнутый птицей, которая хочет его склевать, прикидывается мёртвым. Переворачивается на спину, прекращает двигаться. Птица, видя перед собой мертвеца, теряет к нему интерес и улетает. Пётр Дмитриевич затаился, перестал шевелиться, закрыл глаза и стал невидимкой.

Он хотел понять, с какого момента попал под наблюдение врагов и те начали охоту за Таблицей. Тогда ли, когда опубликовал в районной газетке, под рубрикой “Чудаки”, небольшую заметку о Русской Мечте. Или после того, как в другой газете, под рубрикой “Нечто”, поместил свои откровения о Русской Мечте и “русских кодах”, о явившейся во сне Таблице Агеева. Быть может, чьи-то зоркие глаза углядели в этих малых заметках сделанное им открытие. И эти глаза следили за его выступлениями на радио и второстепенных телепрограммах. Усматривали в этих выступлениях утечки об оружии сокрушительной силы, способном изменить ход истории.

На поединке с Эрастом Богоносцевым в программе Бориса Журавлика “Культурное побоище” Пётр Дмитриевич впервые использовал это оружие, сокрушив неприятеля и вернув изнурённым зрителям пушкинское одухотворение.

На вечеринке “Эхос Мундис” все собравшееся множество недругов атаковало Таблицу. Сотни отточенных жал впивались в сердце, стараясь ужалить Таблицу. Это был прицельный огонь, стрелки били в цель на поражение.

Враги наблюдали, как сверкающая Таблица уносила Петра Дмитриевича и космиста Богданова в сияющую лазурь, где Млечный Путь расцвёл садом райских планет. И те же враги спилили одинокую сосну с дуплом, думая, что в дупле спрятана Таблица. Они же убили великого старца, когда тот ночью смотрел на звёзды.

Впервые Пётр Дмитриевич увидел врагов в курильне, куда пригласил его Фаддей. Эти усатые лица в клубах дыма, осторожные выпрашивания о Таблице. Усачи следили за ним в Новом Иерусалиме, подслушали его беседу с отцом Андреем о Русском Чуде. Сожгли чудотворные иконы и убили рыжебородого казака Карпа. Эти трое усачей были опытные агенты, искусные исполнители, но за ними стояли стратеги, стоял целый Центр, о котором поведал ему Фаддей.

Этот Центр находился за океаном и оттуда руководил усачами. Этот тайный стратег организовал публикацию, где Агеев был представлен русским фашистом. Он же приказал убить кота Кузьмича, вырвать из него Таблицу. Петра Дмитриевича облили нечистотами, желая унижить и довести до отчаяния. И теперь, избравив покушение, вызвали сердечный приступ, привезли в клинику, положили на операционный стол. И, по-видимому, предстоит ужасная операция — рассечённая грудь, окровавленное сердце в руке хирурга, сверкающий скальпель взрезает сердце, иссекая из него Богородицу.

Зрелище было столь ужасно, что Пётр Дмитриевич забыл о принципе “мёртвого жука”, дёрнулся и вскричал:

— Богородице, Дево, спаси!

Он принялся искать спасения, уповая на золотую Богородицу, что носил в своём сердце.

Можно прокрасться больничными лабиринтами, выскользнуть. Схватить случайную машину и улизнуть. Но он был без одежды, повсюду дежурили медсёстры, а у выхода стояла охрана.

Можно позвонить в полицию, но полиция, изъеденная коррупцией, могла находиться в сговоре с насильниками.

И вдруг внезапная счастливая мысль осенила его. Фаддей! Его друг, единомышленник, фронтовой товарищ, как и он, собирающий “русские коды”, драгоценные семена русской истории, из которых всколосится дивный урожай. Звонить Фаддею, немедленно!

Пётр Дмитриевич достал спрятанный телефон. Стал набирать номер друга. Дверь в палату отворилась, и вошёл Фаддей, в накинутом белом халате, осторожный, чуткий, со своей благородной бородкой. Видимо, угадал, что с Петром Дмитриевичем случилось несчастье, и поспешил на помощь.

— Какое счастье! Фаддей! Я знал, что ты придёшь! На меня напали! Эта чёрная смерть у виска! Но это подстроено! Они расшатали сердце, чтобы достать Таблицу! Их трое, усатых. Ты помнишь, в курильне? Ты их всех раскусил. Они следили в Иерусалиме, хотели спилить Древо познания Добра и Зла, но спилили сосну, тоже древо, но не для Марса, а под Москвой, а для Марса в Зарядье. Там марсианские сны. Но я не об этом! Они убили Кузьмича, он ничего не выдал, как русский мученик. И статья о фашизме, и нечистоты, и теперь эта клиника! Они проникли мне в сердце, хотят достать Таблицу! Будет операция, но ты поспешил на помощь. Ты настоящий друг, Фаддей! Наше афганское братство!

— Ты их видел, своих мучителей? — Фаддей подвинул стул и сел у изголовья Петра Дмитриевича. — Ты уверен, что это они? — В сумерках палаты лица Фаддея почти не было видно. Только белел халат и чернела бородка.

— Они, они! Но они не одни! Они исполнители, боевики, спецназ! За ними кто-то другой! Стратег, теоретик! Он даёт им задания, наводит на цель. Кто он? Не знаю. Здесь ли, в Москве? Или за океаном? Кто этот гнусный стратег?

— Это я, — тихо сказал Фаддей. — Это я стратег.

— Да нет, я не о том! Ты стратег, инопланетянин. Твой дом — метеорит, там твоё место жительства. Я о другом стратеге. Кто убил Кузьмича, направил на меня Бориса Журавлика, даёт задания усачам. Я об этом стратеге!

— Это я, — повторил Фаддей. — Я даю им задания. Я приказал облить тебя нечистотами. Я написал статью о русском фашизме. Я придумал заманить тебя в эту клинику, наблюдал за твоей коронарографией и видел золотую Таблицу!

— Ты? — ошеломлённо воскликнул Петр Дмитриевич. — Зачем тебе?

В сумерках чернела бородка Фаддея, белел халат. И вдруг всё стало проваливаться, меняться местами. Сумрак палаты стал ослепительно белым, а халат Фаддея почернел. Лицо его было чёрное, как у африканца, а бородка сияла серебром. Это был негативный снимок мира. Мир вывернулся наизнанку, и Петру Дмитриевичу казалось, что в его рассудке происходят губительные перемены, и он сходит с ума.

— Я не хотел прибегать к насилию, — Фаддей продолжал оставаться африканцем в чёрном халате. — Я предлагал тебе сотрудничество. Предлагал сложить воедино знание “русских кодов”. У меня есть мои открытия, у тебя Таблица. Мы смогли бы работать в лаборатории над общим проектом. Ты бы ни в чём не нуждался. Вилла на берегу океана. Большие деньги. Лучшая библиотека. Преданные талантливые сотрудники. Ты бы стал великим человеком, Петрусь.

— Что за лаборатория? Что за бред! Что за вилла на берегу океана?



О чём ты, Фаддей? — Агеев тщи́лся вернуть серебряной бородке Фаддея чёрный цвет. — Мне не до шуток, Фаддей!

— Петрусь, нас породнил взрыв в Герате, в районе Деванча. Он расколол твой и мой мозг. Мы дети одного взрыва. Твой расколотый мозг был подключён к ноосфере, и тебе во сне открылась Таблица. Я не был подключен к ноосфере. Хотя я тоже видел сны. Мне снились цветущие ивы, я улавливал запахи женских духов. Но вместо Таблицы я видел синюю главку мечети, пыльную бороздку на глинобитной стене, по которой прошлась пулёмётная очередь, чёрно-красный взрыв, колыхнувший машину. Я кричал во сне и утром, чтобы не сойти с ума, шёл к океану и плавал один далеко от берега. Мне нужна Таблица, Петрусь.

— Чтобы добыть Таблицу, ты хочешь меня убить? — Пётр Дмитриевич почувствовал, как дрогнуло сердце. Испугался, что возвращается приступ. Но это дрогнула под сердцем Таблица, как плод в чреве матери, который грозились убить.

— Поверь, Петрусь, я не хотел насилия. Я попросил Бориса Журавлика пригласить тебя в программу “Культурное побоище”. Твоя Таблица себя обнаружила, но я не сумел её захватить. На вечеринке “Эхос Мундис” по моему приказу тебя атаковали маги, старались раздробить в твоём сердце Таблицу, извлечь её по частям. И это не удалось. В курильне мой сотрудник Майкл Вякио ловил сачком дым твоей сигары, надеясь поймать Таблицу. Но бабочка ускользнула, осталась золотая пыльца. У метеорита ты совсем было открыл мне своё сердце, хотел передать мне Таблицу, но в последний момент передумал. Оставалось одно — насилие.

— На кого ты работаешь, Фаддей? Кто ты? Лингвист? Офицер? Зачем вернулся в Россию? — Пётр Дмитриевич спрашивал, а сам искал путь спасения. Он уповал на Таблицу, на золотую Богородицу, которая волшебным цветком цвела в его сердце. “Богородице, Дево, спаси!”

— Я работаю в лаборатории Беркли, Петрусь. Подразделение “Рэндкорпорейшн”, в интересах Министерства обороны, Госдепа и нескольких финансовых групп. Не обошла нас стороной и разведка. Подразделение изучает Россию. Мой отдел исследует “русские коды”. Мы называемся отделом “Русской Мечты”.

— Ты охотишься за “Русской Мечтой”? Охотишься за Таблицей? Зачем? — Таблица раскрывала свои золотые крылья. Подхватит Петра Дмитриевича и прыгнет ввысь, к ослепительной Русской Мечте, покидая вывернутый наизнанку мир, чавкающий и чмокающий ультразвук, операционный стол, усы жестоких хирургов и этого странного человека, явленного в его жизнь из “чёрного Космоса”. “Богородице, Дево, спаси!”

— Я вернулся в Россию, чтобы уничтожить Таблицу. Подавить “русские коды”.

— Но ведь в “русских кодах” вся сущность русской истории! Всё величие русской цивилизации! Любовь, красота, образ Небесного Царства, к которому стремится Россия. Тебе мешает образ Небесного Царства?

— Он мешает не мне. Всему миру мешает.

— Как мешает? — Таблица была вихрем, скоростью света. Она подхватит Петра Дмитриевича своей могучей волной, помчит среди лун, светил и волшебных радуг в небесные сады, где ждут его мать и отец, и бабушка протянет ему золотое яблочко. — Чем тебе мешает Россия?

— От России весь мир трясёт. Тысячу лет трясёт. Россия всему миру укоризна. Тащит всех в своё Небесное Царство. А мир упирается, не хочет. А Россия его подгалкивает бердышами, пищалями, дальнобойными орудиями, ракетами “Сатана”. И при этом приговаривает: “Россия — душа мира”. “В России свет Херсонеса”. “Россия — Третий Рим и Новый Иерусалим”. “Российская история — Пасхальное Воскрешение”. И при этом бьёт из пушек во все стороны света.

— Россия — душа мира! Превращает тьму в свет! Жертвует собой за други своя! За это её ненавидят. Посылают нашествия. — Таблица была Девой несказанной красоты. Она накрывала Петра Дмитриевича Своим Белым Покровом, непроглядным для злых очей. Покров был соткан из хлопьев

русского снега, из веток черемухи, лепестков зацветающих яблонь. Агеев был неуязвим под этим Покровом. Не он сберегал Таблицу, а она спасала его.

— Ты спрашиваешь, Петрусь, чем мне досаждают Россия? Россия невыносима для мира. От неё вся тьма. Мир хочет приручить Россию, как приручают диких животных. Присылает в Россию учёных, педагогов, философов. Учит ремеслам, наукам, добрым нравам. Приглашает в семью народов. И, кажется, затея удалась, “Европа — наш общий дом”. Братания, падают “железные занавесы”. “Аполлон — Союз”, академик Сахаров, конвергенция. Но всегда найдётся какой-нибудь старец Филофей, вроде тебя, Петрусь, и снова “Святая Русь”, “проклятый Запад”, “Архипелаг ГУЛаг” и ракеты “Калибр”.

— И чего же ты хочешь, гоняясь за Таблицей? — Пётр Дмитриевич вновь ощутил страх за своё дитя, которое носил под сердцем и за которое был готов сражаться, как малая птица, отгоняющая от гнезда свирепого хищника.

— Хочу спасти мир от России и спасти Россию от самой себя. Россия — сорняк, и её нужно регулярно пропальвать. Но после каждой прополки сорняк вырастает. В 1991 году, когда мы с тобой сбивали надпись на партийном фасаде, и ты держал в руках букву “М”, казалось, что сорняк вырван с корнем. Но этот проклятый одуванчик, “цветок русского рая”, как ты его называешь, снова зацвёл. Твоя Таблица снова воскресит бредовую мечту о Царствии Небесном, и Россия потащит в это чудовищное царство весь мир. Но этому не бывать. Завтра я выну из тебя Таблицу и уничтожу.

— И что ты с ней сделаешь? Что сделаешь с цветком русского рая? Что сделаешь с Василием Блаженным, который и есть цветок русского рая?

— Сначала истолку Таблицу в мельнице, в какой дробят в крематориях кости покойников. Потом эту золотую пыль растворю в серной кислоте. Потом эту серную кислоту зарядю в космический аппарат и отправлю в дальний Космос, откуда никто никогда не возвращается. И мир станет праздновать День избавления от России! — Лицо Фаддея стало беспощадным, железным, как топор. И эта жестокость палача, предвкушавшего казнь, породила в Петре Дмитриевиче жаркую страсть, бесстрашие мученика, готового принять муку за бессмертную веру:

— Найдётся другой человек, которому приснится Таблица. Золотая пыль, которую ты развеешь в Космосе, вновь опустится на землю и превратится в “сон золотой”, в Русскую Мечту. Русским людям во все века снятся “сны золотые”.

— Кому же, кроме тебя?

— Проклову. Он настоящий русский. Я хотел передать ему Таблицу.

— Его “Русскому сообществу”? Каждый из них — карикатура на царя. У одного борода Ивана Грозного. У другого борода Алексея Михайловича. У третьего — Николай Второго. Кстати, это я направил яхту “Дракон”, которая атаковала корабль Проклова. Я сам подбирал старух из числа состарившихся актрис. В молодости они играли комсомолок, партизанок, монахинь, чеховских героинь. Но все согласились в последний раз блеснуть истлевшими телесами!

— Значит, завтра меня положат на операционный стол и зарежут?

— Не скрою. Операция будет мучительной. Последний раз предлагаю: отдай Таблицу.

— Будь проклят, Иуда! — Пётр Дмитриевич плюнул в Фаддея. Плевком оставил в темноте огненную трассу и ударил в Фаддея с металлическим звуком. Фаддей поднялся и вышел. Там, где он сидел, осталась чёрная пустота, из которой дул ледяной сквозняк.

“Завтра казнь, но без боязни // он мыслит об ужасной казни...”

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич искал пути к избавлению. Он знал, что путь существует. Таблица направляла его этим путём. Этот путь вёл улочками от Сретеньки к Цветному бульвару, к дому с тесным старомодным лифтом, где они

едва поместились с Ириной, и ему стало страшно от того, как близко оказались их губы, гремели ключи в замке, и он хотел, чтобы дверь дольше не открывалась, и дохнула теплом прихожая, в глубине чёрным серебром сверкнуло зеркало. Ну, конечно, Ирина, любимая, ненаглядная, спасительница. Ей передал Таблицу от сердца к сердцу, осьшая её грудь поцелуями. Ирина спасёт!

Петр Дмитриевич набрал её телефон.

— Разбудил? Это я! Извини! Только к тебе одной!

— Что случилось?

— Я в западне! Больница! Немедленно приезжай! Ты спасительница! Сможешь?

— Я еду!

— Я голый! Одежду забрали. Достань одежду! Мужскую!

— У меня нет.

— Купи!

— Сейчас ночь, магазины закрыты.

— У соседей! Домашний халат! Придумай! Возьми такси!

— Куда же мне ехать?

Пётр Дмитриевич продиктовал Ирине номер больницы и палаты, веря, что она не заплутает в ночной Москве. Навигатором ей будет служить Таблица, оттиск которой она носит в своём сердце.

Ночь текла. В тёмной палате слышались невнятные шорохи, глухие постукивания. Это в соседних палатах дышали, стонали во сне. За окном в черноте горела оранжевая дуга Кольцевой дороги, летели бессчётные огни. Оранжевая аорта гнала кровоток, омывающий громадный город. Сердце Петра Дмитриевича чувствовало пульсацию ночного города.

Агеев понимал, что случилась катастрофа. Он, мечтавший осчастливить и спасти этот мир, не понимал устройства этого мира. Не понимал, как устроена власть, кто является мнимым правителем, а кто, укрывшись в тени, подлинно управляет государством. Является ли президент главой, или за ним стоят могущественные олигархи, отобравшие у народа заводы, рудники, нефтяные поля и оставившие народу унижительные развлечения, ядовитые телешоу, лживые проповеди. Своей Таблицей не внесёт ли он в народную жизнь ещё больше разочарований и стонов?..

Начинало светать, когда дверь палаты приоткрылась, и Ирина проскользнула, держа в руках сверток.

— Наконец-то, милая! Спасительница моя!

— Почему ты здесь?

— Потом! Принесла одежду?

— Одежда брата. Он на Урале, иногда приезжает. Примерь.

Рубаха была узковата, брюки коротки, пиджак теснил, башмаки жали. Носков не было вовсе. Пётр Дмитриевич облачился.

— Как ты прошла?

— Через чёрный ход. Такси ждёт.

— Богородице, Дево, радуйся, Господь с Тобою!

Они прокрались коридорами. Через чёрный ход вышли и оказались в больничном сквере. Снаружи поджидало такси. И скоро они мчались по утренней Кольцевой, и Пётр Дмитриевич чувствовал, как удаляется опасность, тает вдалеке клубок тьмы.

Он не мог воспользоваться своей машиной, брошенной на стоянке у магазина. У него не было прав и ключей — всё осталось в больнице. Таксист привёз их в загородный коттедж Агеева, и они с Ириной оказались среди деревьев, которые желтели под утренним небом. Любимые деревья были преградой злу. Обожаемая женщина, спасительница, стояла на пороге его дома. Петру Дмитриевичу хотелось, чтобы её появление в доме было торжественным, чтобы деревья приняли её, как родную. Он взялся знакомить Ирину с деревьями, представлял её берёзам, дубам и клёнам.

— В эту сосну, мне кажется, вселилась душа моей мамы. Вижу её лицо, целую, чувствую запах её духов.

Он подвёл Ирину к сосне. Ирина тронула хвойную ветвь, погладила серебристые иглы. Ветка дрогнула от нежного прикосновения. Сосна приветствовала появление Ирины. Он подвёл Ирину к клёну. Клён горел сырым золотом, будто в кроне пряталось солнце. Листья опадали, подножье дерева было усыпано резной листвой.

— А в этом клёне живёт душа папы. Я веду с ним разговоры, и он мне отвечает, одаривает своими древесными мыслями. Иногда я слышу, как он ночью переговаривается с мамой.

Ирина тронула кленовую ветвь. Положила себе на ладонь резной, горящий золотом лист и поцеловала. Лист отпал от ветки и остался у неё на ладони. Пётр Дмитриевич подумал, что отец, одарив Ирину листом, благословил её появление.

Две берёзы росли из одного корня. Их поредевшие, потерявшие половину листы вершины качались от ветра.

— Круглый год я вижу эти берёзы в окно. Зимой они серые, горючие, в них свистит ветер. Но ранней весной вершины розовеют, и кажется, в окне стоит розовый дым. Этот розовый дым превращается в изумрудный туман. А потом свежая зелень застилает окно. Я слышу чудесный аромат маленьких клейких листьев. Во время ливня я встаю под берёзы, и они льют на меня из своих зелёных водостоков воду, пахнущую небом. На эти берёзы любят садиться сойки. Я называю берёзы “две сестры”.

Ирина пошла к берёзам, коснулась белых стволов. Пётр Дмитриевич подумал, что она породнилась с берёзами, и произнёс:

— Теперь ты и берёзы — три сестры.

Они вошли в дом. Пётр Дмитриевич водил Ирину по комнатам, чтобы она наполнила их своей женственностью. Пусть дом узнает её, примет. Её душа поселится в доме и больше не покинет его.

Он подвел её к фотографии, на которой мать и отец нежно прижались друг к другу, прекрасные в своей молодости и любви. Открыл дверцы заповедного шкафа, чтобы она вдохнула запах горького миндаля и коснулась книг, что были прочитаны им в молодые годы. Показал реликвии, привезённые из дальних странствий. Икону Николая Угодника, обгорелую и облупленную, найденную в Карелии в разорённом храме. Белый моржовый бивень с резьбой, украшенный самородками, — подарок, полученный на Колыме. Дагестанский, в золочёных ножнах, кинжал, изделие мастеров-оружейников.

Пётр Дмитриевич угощал Ирину чаем. Поставил перед ней синюю чашку из старинного бабушкиного сервиза с золотым ободком, стёртым от прикосновений множества губ. Любовался, как она касается губами золотой полустёртой каёмки, приобщаясь к родовым чаепитиям. Дом, наполненный её женственностью, тихо светился.

— Хочу, чтобы ты оставалась в моём доме. Не уходила.

— Останусь в твоём доме. Возьми вот это. — Ирина достала серебряный медальон на цепочке. — Открой!

Пётр Дмитриевич принял медальон, раскрыл. В медальон был вправлен портрет Ирины, маленькая фотография её прекрасных глаз, пушистых бровей, розовых губ.

— Дарю тебе. Пусть будет в твоём доме.

Пётр Дмитриевич поцеловал медальон и отнёс туда, где находился портрет мамы и папы, положил перед драгоценной фотографией. Теперь они были рядом, три любимых человека, живущих в его доме.

— Ты можешь мне рассказать, что случилось? Как ты оказался в больнице?

— Это Фаддей. Он из железного метеорита. Он дитя “чёрного космоса”. Дитя ядовитого дыма.

— Фаддей Аристархович? Ведь он твой друг!

— Он друг того, кто с рогами, копытами и крысиным хвостом.

— Вы вместе воевали, вас ранил один и тот же взрыв.

— Взрыв разметал нас по разным углам Вселенной. Мне досталась Таблица, образ Пресвятой Богородицы. Ему достался железный метеорит, прилетевший из “чёрной дыры”.

— Но Фаддей Аристархович так любит тебя. Называет святым. Только святым во сне может явиться такое откровение, как Таблица. Это святое учение.

— Я не святой, не праведник. Таблица дана не мне, а русскому народу. Я только хранитель, страж. Когда появится великий русский правитель, я передам ему Таблицу, и он совершит чудо русского воскрешения.

— Фаддей Аристархович — враг русского воскрешения?

— Не хочу об этом. Как-нибудь позже. Ты говорила, что я спас тебя, вытащил из проруби. Теперь ты спасла меня, вытащила из “чёрной дыры”. Мы не должны разлучаться. Оставайся со мной. Осень и зиму мы будем вместе писать труд о “русских кодах”. А весной уедем на Волгу. Поплывём по “реке русского времени”. К Волге на водопой сошла вся русская история. В Угличе пресеклись Рюриковичи. В Костроме поднялись Романовы. В Казани через слёзы и кровь породнились татары и русские. Нижний Новгород спас Москву от поляков и дал дорогу новой династии. В Симбирске Керенский сокрушил Романовых. В Симбирске родился Ленин, строитель “красного царства”. В Сталинграде решилась судьба человечества. Мы поплывём на теплоходе по Волге. Будем выходить в городах, жить среди башкир и чувашей. Мы отыщем великие “вожские коды”, которые управляют падением и рождением царств. Таблица, как ковчег, повлечёт нас по вожским волнам.

Ирина поднялась, подошла к нему. Гладила ему волосы. Он закрыл глаза. Она целовала его глаза, и он сквозь закрытые веки видел её грудь, маленькую родинку на плече, босые стопы, спинку кровати, её близкие колени и поднятый подбородок, и упавшие на плечи волосы. А потом ничего не видел в счастливой слепоте, пока не полыхнула жаркая волна, омыла дом, все его уголки, тёмные сучки в потолке, светильник, собранный из разноцветных стекол. Любимая женщина поселилась в доме, чтобы больше его не покидать.

После бессонной ночи они спали, обнявшись, и золотые берёзы смотрели на них сквозь окно.

К вечеру Ирина уехала, и Агеев счастливо ходил по комнатам, целовал серебряный медальон, смотрел на подушку с отпечатком её головы.

К нему прибыл посыльный. Передал матерчатый саквояж. В саквояже была одежда, оставленная им в больнице, паспорт, права и ключи от машины. К вещам была приложена записка:

“Дорогой Петрусь, не оставляю надежду на сотрудничество. Твой брат по взрыву Фаддей”.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утром Петра Дмитриевича потревожил звонок. Голос, мерный, отшлифованный в своих интонациях, произнёс:

— С вами говорят из секретариата Государственной Думы по поручению председателя. Вадим Илларионович хочет с вами встретиться и, если можно, сегодня в тринадцать часов. Что мне доложить председателю?

— Конечно, приеду. Большая честь для меня.

— Тогда, пожалуйста, номер машины. Вход не общий для всех, а там, где проходят лидеры фракций. Вас встретят.

Приглашение было неожиданным и обещающим, особенно после злоключений минувшего дня. Время, которое он прожил последние недели, было подобно синусоиде, и он качался на волнах, взлетал и рушился.

Здание Государственной Думы на Охотном ряду было огромным каменным футляром, хранящим хрупкую нервную плоть государства. Было черепом, содержащим чуткий дышащий мозг. Бесчисленные волокна соединяли эту плоть с народами, землями, языками, из которых соткана неповторимая непомерная необъяснимая Россия. Она управлялась не человеческими разумениями, а снами, являвшимися в сознании русских правителей. Дума, издающая законы, видела сны, которые обрывались в дни великих пробуждений, когда разбуженные народы начинали крушить доставшееся им государство.

Так думал Агеев, приближаясь к Думе. Перед главным входом толпились люди, отчаявшиеся просители, исповедники непризнанных идей, творцы неосуществимых проектов. Стояли в ряд чёрные дорогие автомобили, надменно сверкая металлом. Из Думы появлялся депутат, ещё в полусне, во власти галлюцинаций, с отпечатком электронного табло на лбу. Некоторое время, не веря своему пробуждению, смотрел на дождливое небо, на гостиницу “Москва”, на несущийся ливень машин. Шёл к автомобилю, погружая в салон своё дородное тело, и мчался, пылая синей вспышкой, на встречу с деловым партнёром, в политический клуб или в ресторан к любовнице, которая будет ему отдушиной среди изнурительного бытия.

Агеев поставил машину у служебного входа. Вошёл сквозь тяжёлую дверь и оказался в вестибюле, среди гранита и мрамора. Постовой проверил паспорт, пропустил сквозь игольное ушко металлоискателя, и вежливый человек, строгость и вкрадчивость которого выдавали в нём аппаратное лицо, провёл Петра Дмитриевича к председателю Думы.

Председатель Думы Вадим Илларионович Крамской имел широкое безбровое распаренное лицо, как у любителя бани после третьего пара. Лицо розовое, с испариной, все поры открыты, дышали, а глаза голубые, влажные, исполнены детской благодати. Можно было подумать, что Вадим Илларионович только что покинул банный зал, где триста депутатов голыми сидели на каменных лавках, пропуская над собой огненного змея.

Однако разговор, который повёл Вадим Илларионович, был вполне строг и даже суров. Сидя под государственным флагом Российской Федерации, за столом, сплошь заваленным бумагами и папками, он спросил:

— В одной из ваших статей не без интереса прочитал о “сокровенной власти”. Могли бы вы пояснить, что подразумевали под этим понятием? — Глаза председателя были младенчески-ясными и безгрешными, но едва ли с этой наивной кротостью можно было управлять тремя сотнями дерзких и своевольных честолюбцев, именуемых депутатами Думы. Для этого требовался жезл железный, и Агеев, исподволь оглядывая дорогой кабинет с портретом президента, хотел отыскать этот пасторский жезл, оббитый о спины строптивой паствы. — Что значит “сокровенная власть”?

— Видите ли, Вадим Илларионович, — начал осторожно Пётр Дмитриевич, стараясь не спугнуть высокого чиновника суждениями, которые вполне могли сойти за фантазии и испортить многообещающую встречу, — русские правители, будь то князья, цари или вожди, создали государство в двенадцать часовых поясов. Они использовали для этого батальоны, казну, дипломатию. Посылали за Урал Ермака, направляли Скобелева в Бухару, а Ермолова в Дагестан. Всё это была явная власть. Но была и неявная, сокровенная. Правители знали “русские коды”, которыми управлялся народ, сражался, трудился, терпел, искал благодать, верил в чудо, искал бессмертие. Сочетая власть видимую и невидимую, русские правители создавали царство, сберегали его в час беды, возвышали и выстраивали в час цветения.

Крамской похлопал губами, словно пробовал на вкус услышанное:

— Вы хотите сказать, что владеете этими “русскими кодами”? Вам место в Кремле, рядом с президентом, в числе его ближайших советников?

— Быть может, я смогу быть полезен президенту. Таблица Агеева содержит “русские коды”. С их помощью русскому народу можно вернуть Мечту и совершить возрождение России, о котором много сказано и которое так и не наступает.

Он усомнился, не слишком ли самонадеянно высказался и не прозвучал ли в высказывании упрёк властям за невыполненные посулы?

Вадим Илларионович молчал, думал, поглядывал на портрет президента, который смотрел чуть сбоку с хитрым выражением глаз.

— А как вы относитесь к Конституции? — Крамской умел обескуражить собеседника вопросом, и это удалось ему в полной мере.

— К Конституции? К какой? — смутился Пётр Дмитриевич.

— Ну, разумеется не к Сталинской, а к нынешней!

— Сказать вам откровенно, Вадим Илларионович?

— Разумеется. Иначе зачем мы встретились?

— Эта Конституция стреляла в меня из танков. Эта Конституция чмокала пулями в Останкино, и я кинул в неё бутылку с бензином, но промахнулся. Эта Конституция подожгла Дом Советов, и жених и невеста, обвенчавшись на баррикаде, сгорели в пожаре. Мой приятель приднестровец Кукушка взял икону и пошёл навстречу стреляющим танкам, и был сражён пулемётом. Эта Конституция гналась за мной, когда я убежал из проклятой Москвы, а она смотрела на меня из прорезей чёрных масок. За что мне любить Конституцию, у которой из каждой строки торчит танковая пушка?

Пётр Дмитриевич решил, что Вадим Илларионович взорвётся гневом, укажет ему на дверь. Но председатель Думы посмотрел на портрет президента, на лисье выражение его лица и произнёс:

— Но всё-таки благодаря этой танковой Конституции президент построил новое государство, вооружил его, вернул на мировую арену, сбросил американскую пятерню с русского плеча. Надо быть справедливым.

— Я справедлив, Вадим Илларионович. Вот только жаль погибшего приднестровца Кукушку.

Крамской помял губами слово “кукушка”, проглотил, подвигав кадыком.

— Сейчас в истории государства Российского наступает новый период. Мы затаеваем долгожданное развитие. Двинем страну вперёд. Нам нужно вдохновить народ, вернуть, как вы говорите, народу Мечту. Использовать “сокровенную власть”. Для этого я вас пригласил.

— Как вы думаете мной воспользоваться, Вадим Илларионович?

— Вы бы могли написать новую Конституцию?

— Я? Но я не юрист, не законник!

— У нас немало законников и юристов. Они будут вам подспорьем. Но вы напишете Конституцию, состоящую из сокровенных заповедей.

— Конституцию Русской Мечты?

— Да, Конституцию Русской Мечты, с которой мы начнём наше русское возрождение! Оживим наши увядшие города и деревни. Пойдём в Арктику. Полетим в дальний Космос. Напомним народу, что он самый сильный, добрый, отважный народ. Народ Мечты!

Агеев был поражён. Всё, о чём мечтал, что казалось несбыточным и было готово умереть вместе с ним, так и не дождавшись чудесного русского воскресения, — всё вдруг начало сбываться. Этот безбровый человек с розовым лицом и глазами младенца казался величественным государственным, принадлежал к плеяде великих русских деятелей.

— Уже сейчас, сию минуту я могу нарисовать проект Конституции Русской Мечты! — заторопился Агеев.

— Я слушаю вас, Пётр Дмитриевич. — Крамской приготовился слушать, а вместе с ним слушал президент на стене со своим хитроватым взглядом.

— В основе Конституции Русской Мечты лежит уложение, утверждающее, что народ в своей тысячелетней истории стремится к Царствию божественной справедливости, где нет угнетения, а только любовь, где нет смерти, а жизнь вечная, где цветок луговой и звезда небесная знают и любят друг друга.

Крамской взял лист бумаги, ручку. Агеев подумал, что председатель, не доверяя памяти, решил записать прозвучавшую мысль. Но вместо записи Вадим Илларионович нарисовал еловую шишку. Было видно, что рисует он шишку не в первый раз — так ловко были изображены на шишке чешуйки.

Агеев не стал задавать вопроса, при чём здесь шишка, и продолжал:

— Основной обязанностью и правом народа является возыскание этого царства как высшего смысла народного бытия, что и закреплено в Конституции Русской Мечты.

Вадим Илларионович кивал, подавая знак, что мысль дошла до него. Кивая, ловко, единым росчерком, нарисовал самовар. Пётр Дмитриевич хотел угадать, коим образом самовар сочетается со возысканием благодатного царства. Но прямой связи не находил.

— Образом этого царства является Священная Победа, в которой силы ада попираются силами рая. В основании Государства Российского лежит идеология Победы, делающая само государство носителем святости.

Вадим Илларионович нарисовал птицу, по виду, голубя, держащего в клюве ромашку. Нарисовав свою композицию, он посмотрел на портрет президента, словно хотел убедиться, что смысл рисунка понят главой государства. Агееву казалась странной эта манера председателя слушать серьёзные мысли и сопровождать их легкомысленными изображениями.

— Способность русского народа принимать на себя мировую тьму и превращать её в свет есть обязанность, вменённая народу Творцом, что и записано в Конституции Русской Мечты как священное бремя русских.

Вадим Илларионович кивнул и нарисовал крокодила с зубатой пастью и изогнутым хвостом. Заметив изумление Петра Дмитриевича, пояснил:

— Я постоянно боюсь утечек и прослушек. Эти рисунки — тайнопись, которой владеют всего несколько лиц, в том числе президент. Я доложу президенту о нашей встрече и присовокуплю к докладу эту запись. Продолжайте!

Пётр Дмитриевич восхитился этой изощрённой манерой изъясняться с помощью иероглифов и продолжал:

— Стремление к Победе чревато поражениями, и народ, потерпев поражение, вновь восстаёт из пепла, возрождается и стремится к Победе. Суть русской истории есть Пасхальное Воскрешение, что закрепляется в Конституции Русской Мечты как право народа на воскрешение.

Завонил телефон, один из тех, что теснились на столике, свесив шнуры. Председатель снял трубку. Приложил палец к губам, кивнул на портрет, и Пётр Дмитриевич понял, что звонит президент.

— Да, шишка, Максим Тимофеевич. Да, самовар. Хотя возможен и столовый нож. Но это же не мои идеи. Что касается меня, я бы видел не голубя, а дятла, и не ромашку, а василёк. По итогам я вам доложу. Всё будет зависеть от половника или гуся. Спасибо, Максим Тимофеевич.

Председатель положил трубку:

— Президент заинтересован в нашей встрече. Возможно, в скором времени вы получите приглашение в Кремль.

Агеев был вдохновлён. Долгожданная встреча с президентом, которому он мечтал передать Таблицу, казалась возможной. И он был готов изучить тайнопись и иероглифику, чтобы изъясняться с президентом на его языке.

— Продолжайте, Пётр Дмитриевич, — поощрял его председатель.

— Обретение Царства Небесного даётся великими трудами, что делает труд священной обязанностью и правом народа, стремящегося в Небеса.

На листке Вадима Илларионовича появился белый гриб.

— Оборона Небесного царства от тьмы побуждает народ к жертвенности и героизму, делает русское оружие святым оружием Победы.

Крамской нарисовал жука, и это неприятно поразило Агеева. Вернулись воспоминания минувшего дня и страхи, побудившие его принять позу “мёртвого жука”. Однако неприятные воспоминания уступили место надеждам, и он продолжал говорить, желая быть понятым:

— Русская история есть непрерывное проявление Чуда, когда народу в его одолении тьмы приходит на помощь Господь, делающий русскую историю проявлением божественной воли, что находит своё воплощение в Конституции Русской Мечты.

Чудо на этом таинственном языке, ведомом лишь высшим чинам государства, изображалось в виде крылатой рыбы, причём крыльев было восемь, так что рыба не могла сойти за серафима. “О, рыба, откроешь ли мне своё имя?” — обратился Пётр Дмитриевич к морскому диву и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Устройство государства Российского, деятельность его институтов, полный перечень гражданских прав и обязанностей исходят из упомянутых постулатов и могут меняться в зависимости от эпох, сберегая свою неизменную божественную сущность. Я кончил, Вадим Илларионович!

Председатель нарисовал лист папоротника и молча стал смотреть на Петра Дмитриевича.

— Ну как? — спросил Агеев, страшась услышать слова осуждения.

Вадим Илларионович молча смотрел, дыша всеми порами распаренного лица, а потом поднялся, приблизился к Петру Дмитриевичу и расцеловал троекратно, окружив запахами бани и берёзовых веников:



— Молодец вы наш! Будет что показать президенту!

— Но ведь это всё не окончено! Вы меня застали врасплох.

— Ничего, у вас будет время подготовиться. Отправим вас в чудесное место. Сосновый бор, озеро, чудесный дом, камин. Запрётесь там на всю осень и зиму и напишете Конституцию Русской Мечты. Никого! Только белки! Дрова в камине, музыка. Связь со всеми библиотеками мира. Согласны?

— Могу ли я взять с собой помощницу?

— Конечно! Снег, камин, лёгкое вино, помощница! — Глаза Крамского сияли, как у младенца, который видит новогоднюю ёлку. — Не откажите в любезности. Хочу представить вас депутатам Государственной Думы!

По тяжеловесным коридорам они прошли в зал заседаний, где шло обсуждение какого-то закона, кажется, о платных парковках. Ничтожность закона, его несопоставимость с Конституцией Русской Мечты объяснили Петру Дмитриевичу унылый вид депутатов. Они были скучны, сонны, исполнены небрежения и равнодушия, им наскучило многолетнее сидение в зале и бессмысленное нажатие кнопок, которое отражалось на электронном табло, но не на положении в стране, где дела становились всё хуже и хуже. С такими депутатами страна не могла начать долгожданное преобразование. Они не могли повести народ к Мечте.

— Коллеги, — произнёс председатель, — хочу представить вам известного философа и историка Петра Дмитриевича Агеева, которому во сне явилась чудесная Таблица. В этой Таблице есть всё, что нужно народу для свершения трудовых и ратных подвигов. Пётр Дмитриевич, скажите несколько слов депутатамскому корпусу!

Депутаты смотрели на Агеева равнодушно, устало, готовясь выслушать несколько никчёмных слов, чтобы тут же их забыть. Пётр Дмитриевич некоторое время молчал, озирая пресыщенных погасших людей, для которых ничего не значил. А потом подключил Таблицу к сердцу, кровь жарко хлынула на золотое табло, зажгла его, так что свет полетел по рядам, передаваясь депутатам “от сердца к сердцу”. Каждый оживал, озарялся, изумлённо раскрывал глаза, и казалось, в зале открылся сияющий свод, сыпались бесчисленные хрустали, изливались стоцветные радуги.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Удача была несказанная. Мечта увидеть президента, передать ему Таблицу, участвовать в великом проекте русского возрождения, — эта мечта сбывалась. Он уедет на уединённую государственную дачу в заповедном бору и там, среди снегов, на берегу ледяного озера станет писать Конституцию Русской Мечты. И с ним будет его любимая, его избавительница, его сподвижница Ирина. Днём они станут работать над Конституцией, насыщая её “русскими кодами”, а вечером будут сидеть у камина, пить вино, слушать музыку, а за окнами будет шуметь восхитительный зимний буран.

Пётр Дмитриевич ещё по дороге из Думы стал звонить Ирине, но она не откликнулась. Он покружил по Москве, желая облюбовать место, где они могут пообедать и он расскажет Ирине о своём небывалом успехе.

Агеев звонил, но ответа не было. Он звонил целый день. Звонил, вернувшись домой, но Ирина не отзывалась. Стало тревожно. Зловещий Фаддей мог мстить Ирине за её участие в побеге Петра Дмитриевича. Эта мысль испугала Агеева. Он продолжал звонить, посылал электронные сообщения. Не выдержал и поехал в город.

Москва была в чёрном дожде, шипела, взрывалась огнями, ветер лепил к лобовому стеклу кленовые листья.

Пётр Дмитриевич оставил машину на стоянке у Сретенки и пошёл дворами к дому Ирины. У ампириного особняка с жёлтым озарённым фасадом на него ринулись свирепые овчарки. Прыгали на стальную изгородь, хрипели, лязгали клыками, провожали ненавидящим лаем. Знакомый двор был залит дождём. Среди тусклых желтоватых окон окно Ирины было погашено. Пётр Дмитриевич ждал во дворе среди детских качелей и лесенок, промок, огорчённый и встревоженный вернулся домой.

Весь следующий день звонил непрерывно. Ирина молчала. Он обратился в полицию, но там предложили подождать три дня и лишь после этого начать поиски.

Агеев сидел в ресторанчике “Восточный дворик” на съезде к трём вокзалам и обречённо попивал вино. Мимо сновали расторопные черноглазые официанты, разнося шашлык, азиатскую зелень, душистые лепёшки. Пётр Дмитриевич названивал Ирине, не надеясь услышать ответ. Но вдруг телефон отозвался. Голос Ирины был глухой, низкий, как у больной.

— Что случилось? Где ты была? Почему не отвечала?

— Не могла.

— Как не могла? Я с ума сходил. Дежурил под твоим окном.

— Я видела.

— Как видела? Почему не вышла?

— Не могла.

— Объясни! Не мучай меня! Почему ты скрываешься?

— Мы не должны видеться.

— Вздор! Приезжай сейчас же и объясни!

— Мы не должны видеться.

— Сейчас же приезжай, слышишь? Я требую!

— Ты где?

— В “Восточном дворике”. В двух шагах от тебя!

— Я приеду.

Она вошла, и лицо её казалось чёрным, стиснутым, будто его держали в тисках, с провалившимися глазами и опущенными углами рта. Она сутулилась, не знала, куда девать руки. Села перед ним, смотрела чёрными невидящими глазами.

— Ира, милая, любимая, что случилось? Кто напал на тебя?

Она молчала, губы дрожали, в глазах был страх.

— Ты не должна бояться, родная. У нас всё хорошо. Я был на приёме, обласкан. Нам выделяют прекрасный дом, деревянную лесную дачу. Сосны, белки, заячьи следы на снегу. Озеро ледяное, ветер сдувает снег, и лёд сизый, как оперенье голубя. А голубь, ты знаешь, с ромашкой, хотя мог быть дятел с васильком. Такой благородный человек, как банщик, с розовым лицом, и сам президент позвонил, а он ему “шишки”, “самовар”, “крылатая рыба”. Это тайные знаки, иероглифы власти. Мы будем писать Конституцию Русской Мечты! — Агеев говорил и не мог остановиться. Знал, что если остановится, то случится ужасное, непоправимое, и надо не дать этому ужасному проявиться. — Вечерами, представляешь, камин. Дрова, золотые угольки. Мы пьём вино, какое закажем. “Шаблы”, или “Шардоне”, или грузинское “Цинандали”. А за окнами бушует буря, а нам так чудесно вдвоём!

— Ты не должен видеть меня. Я тебя предала. Меня к тебе подослала.

— Подожди, не об этом. Ты спасла меня. Мои деревья тебя полюбили. Мама, я видел, протянула тебе свою серебряную хвою. Папа подарил тебе золотой лист, и ты поцеловала его. Ты вошла в мой дом, и дом тебя принял, полюбил. Ты хозяйка дома!

— Меня подослал к тебе Фаддей. Велел шпионить за тобой, выведывать про “русские коды”. Велел похитить Таблицу, от сердца к сердцу. Он следил за нами, когда мы сидели в “Зарядье”, когда обедали в турецком ресторане с медными быками.

— Не может быть! Это невозможно!

— Он запер тебя в клинике и пугал операцией на сердце. Знал, что ты позовёшь меня на помощь. Это он передал рубаху, пиджак и брюки. Нет никакого брата на Урале! Не было проруби, из которой ты меня спас! Всё придумал Фаддей! Я мерзкая, гадкая! Подсадная утка! Ты должен испытывать ко мне отвращение! Прогони меня, ударь! Я гнусная, омерзительная!

Пётр Дмитриевич чувствовал, что сейчас упадёт. Пол кривился, как палуба, со стола летели тарелки, вилки, бутылка вина, бокал. Пётр Дмитриевич падал, стараясь зацепиться за скатерть, за светильник, но они скользили и падали. Он чувствовал, что Таблица, которая сияла в сердце, превратилась в чёрное железо, в метеорит, и оттуда дул ледяной сквозняк:

— Уйди! Ненавижу! На тебе весь ужас и скверна мира!

Агеев, захватив в кулак скатерть, упал под стол. Ирина что-то кричала. Официант держал на ладони поднос с соленьями, склонился к Петру Дмитриевичу.

Пётр Дмитриевич бежал по Москве, и мир, в котором он перемещался, был рваный, в нём возникали прорехи, в этих прорехах исчезала материя, память, он проваливался в чёрную пустоту, в беспомыслие. И снова выныривал в свет, в знакомые очертания города, в несчастье, которое с ним случилось. Он помнил, что пересёк площадь Трёх вокзалов с ревущей гущей машин и знакомыми силуэтами привокзальных зданий. Следовал провал, он погружался в прорубь и всплывал в другом месте города, у театра Российской армии, у каменной нелепой звезды, плутова в её колоннадах. Снова провал, тьма, выпадение из мира, его несло в чёрных донных потоках, пока вновь не выкидывало на Садовой, возле “Пекина”, у памятника Маяковскому, льдистому от дождя. Пётр Дмитриевич был в рваном мире, и этот мир разорвала женщина, которую он любил, и он испытывал страдание, неведомое прежде, приготовленное ему на самый конец жизни. В этом мире не стоило жить. Мир не был приспособлен для жизни, не подлежал преобразению, не нуждался в Таблице. Не было иглы и дратвы, которыми можно было залатать чёрные дыры мира. Пётр Дмитриевич хотел провалиться в очередную прорубь, чтобы больше не всплывать, чтобы мёртвые воды унесли его в вечную тьму.

Он шаркал по мокрому асфальту у Зубовской площади. Лица встречаемых прохожих были похожи на бесформенные сырые пельмени. Другие прохожие его обгоняли, и он видел их поднятые воротники. Лицо встречной женщины, расплывшееся и туманное, вдруг прояснилось, на лице появились глаза, рот, нос, и это внезапно прояснившееся лицо показалось Агееву знакомым. Оно опять слиплось, наполнилось мутью, но ему захотелось его рассмотреть. Женщина прошла мимо, он обернулся, и женщина обернулась, словно лицо Агеева тоже показалось знакомым.

Женщина стояла, будто ждала Петра Дмитриевича. Тот подошёл:

— Извините, мне кажется, я вас где-то видел. Я могу ошибаться. — Женщина улыбалась. Она была не молода, но в её утомленных глазах, полных щеках, лёгких морщинках у рта сохранялась женская сила, тяжёлая красота. — Мне кажется, я вас где-то встречал.

— И я вас где-то видела. — Женщина улыбалась, и по этой улыбке Пётр Дмитриевич понял, что она узнала его, но не спешит признаться ему в этом.

— Где мы виделись? — Он мучился, не мог вспомнить.

— А ты вспомни, Петенька, как мы целовались, и всю ночь пели соловьи.

— Боже мой. Вера! Ты? Не узнал!

— И ты изменился, Петенька. Время не красит.

— Где ты теперь? Куда идёшь? — Это была она, та самая Вера, которая вдруг объявилась в деревне, где он работал лесником, ютился в избушке у тёти Поли, и Вера пришла в вечерний клуб, где хрипел проигрыватель и танцевали пары, не снимая пальто, и они танцевали с Верой, и её грудь не помещалась в расстёгнутой блузке, и на пальце блестело обручальное колечко, и они шли по пустынному мокрому шоссе, и пахло талой землёй, первыми лесными цветами, по реке в тумане плыл размытый огонь, слышались неразборчивые голоса рыбаков, и она повторяла: “Боги! Русские боги!” У пустой автобусной будки он обнял её, пробираясь губами к её груди, и она помогла ему, расстегнула пальто.

— Боже мой, Вера! Ты уехала, не простившись. Неужели и теперь так же расстанемся?

— Я тороплюсь.

— Ну хоть полчаса! Здесь есть кафе. Расскажешь, как жила!

В кафе они сняли пальто, Вера поставила на пол большую сумку. Пили кофе, ели ягодный торт.

— Ты помнишь беседку, где я тебя ждал, и ты принесла мне букет черемухи?

— Хозяйка твоя, тётя Поля, поймала меня на улице и отчитала. Дескать, мужу напишет, что с тобой гуляю.

— А помнишь, как лежали на сене, а ночью гуси летели и гоготали?

— Ты мне все какие-то стихи читал, а мне целоваться хотелось.

Агеев вспоминал, как с Верой лежали на сеновале под крышей, а в ночи, невидимые, летели гусиные стаи, а в стойле вздыхала лошадь, и Вера наутро искала в сене серёжку и не могла отыскать.

Пётр Дмитриевич пережил страшную беду, оказался в разорванном мире и сейчас спасался, не отпуская от себя эту женщину. Стремился туда, где был молод и свеж, и красивая женщина любила его, и они шли по пустому шоссе под морозящим дождём, и рядом, на невидимой реке плыл волшебный огонь, вёл их туда, где он остановил её, сильно привлёк к себе, и была холодная лавка, и её тёплые голые ноги, и потом они молча возвращались обратно, и в нём была такая нежность, сила, такое счастье...

— Ах, как хорошо было бы нам оказаться на той дороге, увидеть туманный огонь, — произнёс Пётр Дмитриевич.

— Хорошо, — сказала Вера.

— Как ты живёшь? Муж, дети?

— Муж погиб. Он был военный. Где-то в Чечне. Детей нет. А ты?

— Как перст. Мы с тобой два перста. Наколдовать бы, чтобы всё вернулось обратно.

— Я колдунья. Могу попробовать.

— На картах гадаешь?

— Поклоняюсь русским богам.

— Это как же?

— Русские боги — Сварог, Стрибог, Велес, Ярило, Мавка, Берегиня, Домовый, Водяной. Им служу, а они помогают.

— Язычница, что ли?

— Можно и так сказать. Служу русским богам.

— Как же ты служишь?

— Вот ты меня задержал. А я в рощу ехала. Везла богам подарки. Вон сумка полная.

— А где твоя роща?

— Есть березняк под Домодедовом. Сейчас туда поеду.

— Возьми меня!

— Тебе зачем? Ты русских богов не знаешь.

— Я русский, знаю русских богов. Возьми!

— Поедем!

Петру Дмитриевичу было необходимо с ней оставаться. Он боялся её отпускать. Через двадцать лет, что они не виделись, она появилась в час непомерной беды, словно кто-то вызвал её из небытия, чтобы он не погиб, не провалился в чёрный провал. Если она вдруг уйдёт, то возникнет провал, и он ухнет в мёртвую прорубь.

— “Русские коды” — это “русские боги”. Не уходи, останься со мной! — умолял он беззвучно.

Несколько часов назад женщина, которую любил, которую обрёл в скитаньях, в многолетних ожиданиях счастья, растерзала в клочья его незащищенную жизнь. И другая женщина, явленная через множество лет, сшивала разорванные лоскуты, возвращая ему целостный мир.

Пётр Дмитриевич взял на парковке машину, и они с Верой пробирались сквозь чавкающий ревущий город туда, где находилось языческое капище, священная роща, обитель русских богов. Москва понемногу отпускала. Каширское шоссе превращалось в ровный стальной поток. Открывались дали. Становилось видным небо с низкими тучами и серым самолётом. И вот, наконец, потянулись чудесные березняки, мерцающая белизна перелесков с золотыми вершинами, ещё в листве, но уже зыбкими, полупрозрачными.

— Осторожно, здесь будет съезд, — предупредила Вера.

Они свернули на узкое шоссе, Вера указала съезд на просёлок. Проехали по лужам. В роще просёлок исчез среди жухлой травы с редкими,

доживающими век геранями, торопящимися доцвести до морозов. Остановили машину и вышли.

— Давай помогу. — Пётр Дмитриевич перенял у Веры тяжёлую сумку. Шёл за ней, чувствуя, как промокают ноги.

Они миновали поле с колючей стернёй и вышли к березняку. Небо было серое, угрюмое, но в березняке было так бело, светло, чисто, что казалось, каждый ствол светится, по роще летят чудесные лучи. Далёкие леса стояли в угрюмом золоте, а здесь дышало нежное серебро.

— Вот здесь поставь сумку. — Вера остановилась у высокой берёзы. Её ствол совершенно белый, без темных метин, вливался в небо, как ручей света. На вершине ещё оставалась золотая листва, но серебро пролетало сквозь золото, и в небе над берёзой плавало озеро света.

Вера раскрыла сумку, стала извлекать пластмассовые тарелки, ставила на траву полукругом. На тарелках появились вареная куриная нога, копчёная рыба, хлеб, ломти сыра. Вера насыпала в тарелку ячменное зерно, выложила огурцы, помидоры. Доставала из сумки деревянные резные фигурки, пёстро раскрашенные. Пётр Дмитриевич решил, что эти расписные уродцы и есть русские боги. Не умел определить, кто из них Велес, Сварог или Стрибог.

Ему не были странны эти приготовления. Всё, что случилось с ним, было так огромно, сокрушительно, страшно, что уже ничто не могло его поразить. Напротив, отвлекало от ужасного и большого, служило успокоению и исцелению.

Вера скинула пальто, осталась в шерстяном платье, на которое тут же упал и прицепился жёлтый лист берёзы. Берёза тронула её, узнала, позвала к себе. Вера обняла берёзу, ласкала, вела руками вверх по стволу, будто толкала, устремляла ввысь потоки света, и серебряное озеро над вершиной волновалось, плескалось. Вера оттолкнулась от ствола, воздела руки и побежала вокруг дерева, издавая булькающие горловые звуки. Её грузное тело стало лёгким, прыжки были молодые и длинные, грудь колыхалась, а руки гибко изгибались, как плавники или крылья. Она кружила, скакала. Пробегая мимо Петра Дмитриевича, подала знак бежать следом. И он, повинувшись, побежал, видя, как подбрасывает она ноги, плещет руками, и волосы, растрепавшись, мотаются вокруг головы. Она загоготала, как гогочут дикие гуси. Пётр Дмитриевич вспомнил тот ночной гусиный гогот и загоготал, подражая ей. Они бежали, махали руками, Агееву казалось, что их руки обрастают перьями, превращаются в крылья, и сейчас они взмоют над осенними лесами.

Вера широко развела руки, слабо ими поводила, покачиваясь. Она планировала в потоках воздуха. Стала издавать тонкие надрывные крики, подражая сове. Агеев вторил ей. Они были две совы, совершающий полёт вокруг священного дерева. Пётр Дмитриевич священнодействовал. Повиновался Вере, чувствовал спасительную зависимость от неё, боялся отстать, ошибиться. Вера выла волком, и этот тоскливый вой разносился по берёзовым рощам. Агеев чувствовал себя осенним зверем, выражал свою неприкаянность, предчувствие близкой зимы, ночных раскалённых звёзд тоскливым волчьим завыванием.

Они блеяли овцами, кричали рассерженной кошкой, хрипели диким кабаном. Русские боги принимали их подношенья, внимали крикам совы, гусиным гоготам, волчьим воям. Пётр Дмитриевич был оборотнем, обростал мехом, перьями, чешуёй. Ему было чудесно в этом зверином обличье. Не хотелось возвращаться в чудовищный мир людей, из которого увела его эта колдунья. Вера, глубоко дыша, остановилась под берёзой. Скинула платье. Осталась нагая, с тяжёлой грудью, дышащим животом, тяжеловесными бёдрами, растрёпанная, с листьями в волосах. Пётр Дмитриевич обнял её колени, целовал её влажные груди, гладил бедра, икры. И вдруг испытал сладостный обморок, мучительное обожание. Хмурое небо над берёзой просветлело, тучи раздвинулись, далёкие леса стали золотыми, сверкающими, как иконостасы, и солнце осветило Веру и Петра Дмитриевича. Она гладила его голову, а он целовал её пальцы, грудь, берёзовый листок в её волосах.

Агеев вдруг испытал тревогу. Обернулся. За берёзой мелькнул человек. Пётр Дмитриевич успел его рассмотреть. На нём была тирольская шапка с пером, клетчатый сюртук и брюки гольф. Такое облачение носят альпийские охотники. Но главное — усы. Темные, вразлёт, с загнутыми вверх концами. Это был усач, его неизменный преследователь. Агеев посмотрел в другую сторону. И там появился человек и скрылся за берёзой. На нём была фуражка с жёлтым околышем, длинный сюртук с блестящими пуговицами. Он был похож на старинного кондуктора. Усы щёткой накрывали верхнюю губу. И это был усач, неотступный преследователь. Третий усач обнаружился тут же. На нём был картуз и тёплый свитер, мягкие усы переходили в бакенбарды.

Пётр Дмитриевич опять находился в западне. Другая женщина, вслед за первой, влекла его в погибель. Агеев оттолкнул Веру, крикнул, как кричит подстреленный заяц, просвистел соловьём, проблеял бекасом и кинулся бежать по стерне, чувствуя за собой погоню. Вслед ему раздавался сорочий стрёкот и визг дикой кошки. Пробежал сквозь кусты, оставляя на ветках часть одежды. Разбрызгивая грязь, пересёк промоину, вбежал в рощу, где стоял его автомобиль. Не разбирая дороги, по просёлку выехал на асфальт. Влился в ровный поток машин на Каширском шоссе.

Он был измощён. Мир, в котором он жил, был полон вероломства. Мир был сконструирован так, что являл собой западню, куда попал Пётр Дмитриевич со своей Таблицей Агеева. И, быть может, Таблица Агеева и была западней, куда его заманили.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Пётр Дмитриевич гнал по шоссе, и ему чудился летящий вслед сорочий стрёкот и визг дикой кошки. Он не мог размышлять, не мог объяснить встречу с Верой, с колдуньей и чародейкой. Чей-то изощрённый ум и лукавая воля вызвали из прошлого женщину, которая могла утешить его после страшного крушения. В этом крушении он был унижен, разрушен. Женщина завладела его разрушенной душой, убаюкала мифами о русских богачах и повела в новую западню, из которой он чудом вырвался. Западня сменяла западню, предательство сменялось предательством.

Всему виной была Таблица. Она влекла его в катастрофу. Она приносила несчастье людям, и некоторые уже заплатились жизнью. Обещая чудесное воскрешение, суля божественное преображение, Таблица несла смерть.

Возникла жаркая мысль — избавиться от Таблицы. Вымолить у Господа, чтобы он забрал Таблицу обратно. Заснуть, и Таблица вместе со сновидением покинет его. Или принять рвотное, чтобы Таблица вместе с кашлем, слезами и рвотой выпала из него, и он ушёл бы от того места, где она осталась лежать под забором. Или убить себя, прекратить эти страхи, погони. Разогнать машину, врезаться в столб, чтобы вместе с сердцем раскололась Таблица.

Пётр Дмитриевич разогнал машину, обогнав “мерседес”. Выбрал столб для удара, но в последний момент отвернул. Увидел разгневанное лицо водителя в “мерседесе”.

Он въехал в Москву и бессмысленно кружил, ныряя в туннели, путаясь в развязках. Страшно устал. Поставил машину на парковке и осмотрелся. Он находился у метро “Баррикадная”, вышел и побрёл туда, где за деревьями возвышался Дом правительства — Белый дом или Дом Советов, слишком хорошо знакомый ему по восстанию 1993 года. Он брёл по парку, по мокрым листьям и видел огромный голубоватый фасад того мертвенного лунного цвета, который обрёл Дом после массовых убийств. В те кромешные яростные годы здесь ревела толпа. На балкон выходили возбуждённые и восхищённые люди, читали стихи, пели песни, говорили о свободе и народной победе. А потом грохотали танки, болванки ломали бетонные стены, десантники, прячась за бронёй, готовились к штурму, и Пётр Дмитриевич, молодой баррикадник, вносил в вестибюль раненного в живот казака, а тот стонал: “Больно! Как больно, братцы!”

Теперь Пётр Дмитриевич подходил к Белому Дому, и всё в нём начинало болеть, кричало, ненавидело. Ничто не уснуло, не забылось, требовало продолжения. Белый дом был обнесён оградой, рядами остроконечных пик, на которые, как показала Петру Дмитриевичу, были насажены головы баррикадников. Тут же под сенью деревьев находился памятник тем кровавым дням. Большой деревянный крест с грубой резьбой и тусклой лампадкой был поставлен православными, совершавшими своё поминовение. Малый фрагмент баррикады с торчащей арматурой и зубчатой спиралью Бруно — дело рук коммунистов, которые здесь в последний раз сражались за Советский Союз. И высокое, начинавшее сохнуть дерево с языческими ленточками на ветвях. В дни памяти на нём висели три флага — советский, Андреевский и чёрно-золотой, имперский.

Пётр Дмитриевич приложился к кресту, поминая баррикадников. Тронул железную арматуру и коснулся акульих зубов колючей спирали. Пошёл к дереву. Прижался лбом к сырому стволу и замер. Не вспоминал, а просто сказал дереву, что пришёл.

Кто-то тронул его за плечо. Пётр Дмитриевич оглянулся. Это был сутулый человек, стареющий, с лицом тёмным, какое бывает у шахтёров, но не суровым, а печальным и добрым.

— Пришёл помянуть? Из наших?

— Давно тут не был.

— Одни забывают или помирают. А других тянет, приходят.

— Ты где стоял?

— А везде. Сперва на баррикаде, а началось, в Дом перешёл. А ты где? Вроде я тебя помню. Не с казаком ли Морозом?

— Нет.

— Союз офицеров? Терехов?

— Нет.

— Баркашовцы?

— Нет.

— Марковцы? Добровольческий полк?

— Я с приднестровцами. Один ручной пулемёт на всех. А потом перевели в группу “Север”. Там вообще три автомата, все укороченные.

— Да уж, они нас из танков, а мы АКСУ против них. Такая война. Поубивали нас.

— Мы-то остались. Помним.

— Их потом Бог стал прибирать. Ельцину бычьё сердце поставили. Он, как бык, ревел и помер. Танкисты, какие по нам стреляли, все в Чечне сгорели. Генерал Романов, который на стадионе наших расстреливал, в Грозном на фугасе взорвался. Теперь, как овощ.

— наших больше легло. Одних нашли, другие пропали без вести. Помнишь парня? Кукушкой звали. Взял икону, пошёл на танк, а его нехристи из пулемёта скосили. Пропал Кукушка.

— Ой ли? А может, и не пропал?

— Ты где его видел?

— А ты сюда посмотри! — человек, стоящий перед Петром Дмитриевичем, приблизил лицо, повернулся в профиль, сначала одной стороной, потом другой. — Не узнаешь? Я Кукушка!

— Да как же! Ты же плясал, кренделя выделывал. Кукушкой кричал! У тебя на голове хохолок был птичий!

Человек стянул картуз. Показал лысину.

— Хохолок слинял, а кукушкой могу кричать. — Он звонко, чисто, будто в весеннем гулком лесу, прокричал кукушкой. Пётр Дмитриевич тихо ахнул, задрожал от рыданий. Они обнялись и стояли под вещим деревом. Моросило тёмное небо. Присели на лавочку у креста.

— Как же ты выжил, Кукушка? Я тебя всегда поминаю.

— А как выжил? Чудом! А как ещё?

Они сидели, прижавшись боками, два белодомовца, которых таинственный вихрь вынес из пожара, носил по миру, и судьбе было угодно, чтобы они повидались под вещим деревом, которое их позвало к себе.

— А люди думали, что ты погиб. А ты вот он, живой. Что с тобой вышло?

Кукушка не сразу ответил. Будто оглядел всю случившуюся с ним жизнь, с минуты, когда танки подпрыгивали на мосту с каждым выстрелом, и в стене огромного дома взбухал взрыв.

— Думаю, кто же вы там, танкисты, сидите? Не русские? Или не мать вас родила? Взял икону Пресвятой Богородицы и пошёл. Иду к мосту, пули свистят, а ни одна не попадает. Вижу, один танк пушку на меня наводит, сейчас стрельнёт. Я взмолился: “Пресвятая Богородица, сохрани!” Вижу, снаряд из танка в меня летит, прямо в лоб. А икона вверх поднялась и понесла меня. Помню, мост над рекой, танки, Дом Советов горит, а потом ничего не помню. Очнулся в лесу. Тихо, мягко, лежу на земле под деревьями. В руках икона, а кругом грибы растут. Подосиновики, такие ядрёные, с красными головами. Что за чудо! Я пиджак снял, грибов набрал, икону под мышкой держу, иду по дорожке. Дорожка меня к дому вывела, в котором беспризорники жили, к детскому дому. Я заведующего вызвал, отдал грибы, а он спрашивает, могу ли я им кое-чем подсобить. Я плотник. Остался у них в детдоме, крыльцо отремонтировал, терраску, ребятки ко мне привязались, так я у них на три года задержался. Икона меня сподобила.

Кукушка улыбался. Воспоминания были приятные.

— Пожил и дальше пошёл. Познакомился с одной матушкой, ну, то есть, с монахиней. Ей поручили обитель восстанавливать. Одни камни в степи. Одни могилы. Я принял от неё послушание. Начал с другим мужиком, который глухой был, камни разгребать, келью строить. А там, надо сказать, много змей было. Камень отвернёшь, а там змея. Но не кусались. Так я в этой обители ещё три года прожил, пока первую часовню не освятили. Это я Пресвятой Богородице долг отдавал за то, что меня сберегла. Там, в обители, икону и оставил.

Кукушка улыбался. Воспоминания грели душу.

— В лесхозе работал. Ну, эти саженцы, ёлочки всякие, дубки на горях высаживал. И не просто в землю тыкал, а с умыслом. Один саженец Руцкой. Другой Хасбулатов. Третий Макашов. Четвёртый Ачалов. Пятый Баркашов. Пусть рядом растут, вспоминают, как что было. Что так, что не так. Лес посадил, должно, на деревьях моих птицы гнёзда выют.

Кукушка после чудесного избавления проживал свою жизнь осмысленно, старался исправить случившиеся в этой жизни поломки. Ту огромную поломку в центре Москвы с горящим Домом Советов нельзя было исправить. Но исправлять поломки поменьше было под силу Кукушке, и он, как мог, устранял нестроения русской жизни.

— Пришлось посидеть два года за драку. Одному коммерсанту морду набил. Ничего, отсидел. Два года брезентовые рукавицы шил. Полезное дело. Шью, а сам думаю: сварщику какому-нибудь польза от меня будет. Или каменщику. Или рыбаку на промысле. А может, кто-то из наших, из баррикадников, эти рукавицы получит, и они ему руки защитят от царпин.

Кукушка довольно хмыкнул. Его жизнь была служением. Он служил, стараясь облегчить трудности, выпадающие на долю людей. Своих трудностей он не замечал. Он перелетел на иконе Пресвятой Богородицы через горящую Москву, опустился в грибном лесу и с тех пор перелетал с места на место, находясь в услужении у людей.

— А теперь? — спросил Петр Дмитриевич. — Теперь чем живёшь?

— Теперь это место берегу. Народный сторож. Лампадку зажгу. Земельку подмету. Народ приходит, я ему всё расскажу по порядку. Фотографии показываю. Цветы положу у баррикады. Служитель я.

Сидели бок о бок. Было им хорошо. Агеев устыдился недавней слабости, когда хотел уничтожить Таблицу. Он будет беречь её до тех дней, когда придут сюда торжествующие толпы, и чудо Пресвятой Богородицы повторится. Никто не убит. Все живы и любят друг друга.

— Ну, я пошёл, — сказал Пётр Дмитриевич, вставая.

— Приходи ещё. Я всегда рядом, — сказал Кукушка.



Они обнялись. Таблица Агеева пополнилась ещё одним “русским кодом” — “кодом служения”. Пётр Дмитриевич удалялся, и вслед ему кричала кукушка, суля долголетье.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вдруг за ночь всё высохло. И земля, вчера ещё чёрная, липкая, стала седой, как сталь. Лужи покрылись сизым льдом, в них были вморожены пузыри воздуха, опавшие листья. Пётр Дмитриевич не мог себе отказать и топтал лёд, слушал хруст и хлоп воды. Вернулось чудесное ощущение детства, и он искал новую лужу, предвкушая хруст льда под каблуком. Поднял кленовый лист. Весь в инее, серебристый, он охлаждал губы. От дыхания иней таял, лист становился золотым. Пётр Дмитриевич подумал, что это тот самый лист, который упал с ветки на руку Ирины, и она поцеловала его. И внезапно такая боль, такое смятение, такое желание увидеть Ирину, целующую резной жёлтый лист, пронзило его. Агеев понял, что всё это время думал об Ирине, тосковал по ней, любил её.

Зима наступала не сразу, а играючи. То начинала сыпать снегом, выбеливая землю, понижывая метелью прозрачные вершины берёз и застревая в густой хвое сосен. То вдруг насылала оттепель, и земля неохотно совлекала с себя белое облачение, оставаясь в чёрной неприглядной наготе. А то вдруг так повалит снег, что ветки согнутся под сырыми комьями, и всё начинает благоухать влажной корой, снегом, близким небом, и такого запаха нет нигде в мире, кроме как в ноябре в России.

Агеев тосковал по Ирине. Подходил к деревьям, которые помнили Ирину, и те будто спрашивали, почему она вновь не приходит. Во время оттепели, когда навалило снегу, слепил снеговика. Обжигая руки, катал снежные шары. Ставил один на другой. Из кленовых листьев смастерил венец. Скомкал снежки и прилепил груди. Из дома принёс медальон с её портретом, повесил на грудь. Целовал медальон и два снежка, словно целовал её груди и чувствовал, как любит её, как её ему не хватает.

Несколько раз порывался звонить, но тут же просыпался ужас, мерещились чёрные провалы, куда он падал после её жуткого признания, и он откладывал телефон. Он вспоминал чудесную ночь, когда она превращалась в античную вазу, а потом ложилась на него, как в лодку, и они плыли по волнам летней московской ночи.

Его желание видеть Ирину было столь велико, что он прокрадывался вечерами к её дому мимо ампирного особняка с мерзкими овчарками и смотрел на её окно, не мелькнет ли любимая тень. А однажды подкараулил её, выходящую из дома. Мела метель, Ирина была в короткой шубке, без шапки, в шерстяном розовом шарфе. Пётр Дмитриевич видел, как набивается снег в её волосы. Уже хотел броситься к ней, но подкатило такси, Ирина села, и её унесло, а Пётр Дмитриевич стоял с разведёнными руками, словно выпустил птицу, и чувствовал себя таким обездоленным.

Через несколько дней он получил сообщение, что его желает видеть в Кремле президент. Эта новость была ошеломляющей. “Русская Мечта”, ещё недавно казавшаяся курьёзом ничтожных провинциальных изданий, забавой мелкотравчатых развлекательных шоу, “Русская Мечта” вызывала интерес у влиятельных предпринимателей, таких, как Проклов, у высших чиновников, как председатель Думы Крамской, а теперь у самого президента России Максима Тимофеевича Младорossoва.

Через несколько дней машина, пахнувшая благовониями, с молодцеватым, офицерского вида шофёром привезла его в Кремль. Постовой у Троицкой башни отдал честь, и это свидетельство почёта предназначалось Петру Дмитриевичу. Заснеженная Ивановская площадь, по которой сделала круг машина, казалась воплощением могучей красоты, от которой дух сладко замирал, а память, казалась, помнила все величие русской истории, делая Агеева её творцом и участником. Промелькнули соборы и колокольни. Машина остановилась у дворца. Перед входом его уже ждали. Проверка документов.

Проход через металлоискатель. Подъём в зеркальном лифте. Движение по коридору, где в нишах через каждые пятьдесят шагов располагался пост охраны. И вот Пётр Дмитриевич в приёмной с золочёными дверями и резным двуглавым орлом.

— Вас пригласят, — произнёс секретарь и скрылся, оставив его волноваться и ждать. За золочёной дверью было тихо, но эта тишина казалась наполненной, грозной, дышащей.

Появился секретарь:

— Президент вас ждёт, Пётр Дмитриевич.

Золочёная дверь отворилась, и он вошёл в кабинет.

В кабинете не было величия, но присутствовало всё, что помогало работать. Стол с аккуратными стопками документов. Хрустальная чернильница с пером, которое, видимо, летало в руках президента, нанося росчерки под документами. Стол, заставленный белыми, из слоновой кости, телефонами, которые строго молчали, но таили в себе голоса министров, губернаторов, иностранных президентов. Флаг России и президентский штандарт, как два крыла разноцветной бабочки, на которую походил сидящий между ними президент.

Все это заметил Пётр Дмитриевич позже, когда прошла первая минута его встречи с президентом. Агеев ожидал увидеть повелителя, исполненного величия, милостиво снисходящего до малых мира сего. Но увидел милого улыбающегося человека, который заждался желанного гостя и теперь открыто радовался его появлению.

Младороссов был уютный, полный, с мягким округлым лицом, которое украшала светлая бородка, какие носили чеховские персонажи, — врачи, учителя, земские чиновники. Его каштановые волосы были слегка вклокочены. Видимо, принимая решение или подписывая документ, президент ерошил их.

Увидев Петра Дмитриевича, президент вышел из-за рабочего стола и сел за маленький уютный столик, указав Агееву место напротив. И так мило, так радушно, так по-домашнему улыбнулся, что Пётр Дмитриевич почувствовал себя легко, свободно, испытывая к хозяину сначала благодарность, а потом обожание, желание быть рядом, слушать его указания, которые имели вид остоорожных просьб и вкрадчивых убеждений.

— Крамской сообщил, что вы, Пётр Дмитриевич, являетесь автором оригинального вероучения Русской Мечты. Вы владеете кодами, с помощью которых народ достигает Мечты. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? — Было видно, что президент крайне заинтересован.

— У русского народа есть Мечта. Она о праведном государстве, эскизом которого является Царство Небесное. В этом царстве нет насилия, нет смерти, нет убийства птицы или цветка. Чтобы достичь благодатного Царства, народ совершает усилия. Это “русские коды”. Таблица, которой я владею, определяет порядок кодов, которые включаются в работу по мере приближения Царства. — Пётр Дмитриевич излагал свою теорию простым языком, как если бы его слушал не многоопытный президент, а пытливый ученик. Так Пётр Великий на архангельской верфи слушал поморского шкипера. Так Сталин, отложив заседание Политбюро, рассматривал чертёж скорострельной пушки.

— Вы сказали, Пётр Дмитриевич, что коды следует вводить в определённом порядке. В том, в каком они закреплены в Таблице. А если целью будет не Царствие, а нечто другое? Как работают коды?

— Если вместо Мечты, вместо Царствия будет предложена народу ложная задача и на её выполнение будут направлены коды, то произойдёт катастрофа. Коды родят Пугачёва, родят революцию. Таблица взорвётся, как реактор в Чернобыле, и государство погибнет.

Президент задумался. Рассеянно взял ручку и прямо на столе нарисовал шишку, а рядом дрозда, держащего в клюве гроздь рябины. Пётр Дмитриевич не удивился. Это была тайнопись, которой владели самые посвящённые чины государства. Дрозд с рябиновой гроздьёй, возможно, изображал Пугачёва.

— Я строил государство Российское в страшных условиях, среди кавказских войн, террористических актов, ползучих суверенитетов. Строил из подсобных материалов, что попадётся под руку. Построил государство и защитил

его. Мы создали могучую армию, самое мощное в мире оружие. Я вернул Россию в центр мировой политики, вернул её на Ближний Восток. Теперь мы должны заняться возрождением исконной России. Мы должны построить новые прекрасные города, невиданные заводы и университеты. У нас должны быть лучшее в мире образование и медицина. Появятся многодетные семьи. Предстоит огромный, рассчитанный на десятилетия проект. Но как мы его затеем? Народ потерял Мечту! Как вернуть народу Мечту? — Президент был возбуждён. Он был погружён в проект, о котором поведал Петру Дмитриевичу. С этим проектом он должен войти в историю. Начертать своё имя на скрижалях русской истории рядом с Владимиром Святым, Иваном Грозным, Петром Великим и Иосифом Сталиным. Рядом с этими громогласными именами должно появиться имя Младорossoва.

Пётр Дмитриевич ловил мысль президента, был восхищён, благодарен ему за эти откровения. Президент делал Агеева соучастником великого проекта, и Агеев был готов служить, помогать любимому президенту.

— Мы вернём народу Мечту, Максим Тимофеевич! Русский народ мечтатель. Он не забыл своей Мечты!

— Но как мы её вернём?

— В вашем проекте будут отдельные программы, на которых мы сосредоточим внимание. Например, “Космос русской Мечты”. Мы напомним народу, что в основе космических полётов лежала идея космиста Николая Фёдорова воскресить все умершие поколения людей, победить смерть, а воскрещённое человечество на ракетах Циолковского расселить по другим планетам. Мы напомним, что человечество в небе искало Божественное Царство, что стремление в небо — это поиск Рая. Что осетинские пироги изображают землю, луну и солнце, и каждый испечённый осетинский пирог — это выход в открытый космос. Марийские волхвы, восхваляющие ветер, солнечный свет, лунную тень — это космонавты, летящие в мироздании. А стих Лермонтова “Спит земля в сиянье голубом” был написан, когда он облетал землю на космическом корабле. Пусть каждая взлетающая с космодрома ракета будет полётом русского народа в бессмертие!

Президент был взволнован. Не закончив один рисунок, переходил к другому. Там были изображения овощей, таких как огурец или морковь, причём морковь, по-видимому, изображала ракету. Электрический чайник был космистом Фёдоровым, а гребень для волос — Циолковским. Президент умоляющим взглядом просил Агеева говорить медленней, чтобы рисунки успевали за рассказом. Но тот, увлечённый, не мог остановиться, создавая тем самым неудобство президенту.

— Вторая программа — “Атом Русской Мечты”! Не забудем, что советская атомная бомба создавалась в Сарове, в развалинах монастыря, где подвизался Серафим Саровский. И хотя кельи монастыря были разгромлены, а монахи расстреляны, сам Преподобный Серафим духовно руководил сталинским атомным проектом, не позволил американцам разбомбить СССР. Поэтому сталинскую бомбу называют “православной бомбой”, а среди руководителей проекта, кроме Келдыша, Курчатова, Королёва, называют Серафима!

Бомба изображалась ананасом. Серафим Саровский был рыбой. Три помидора были столь похожи один на другой, что Пётр Дмитриевич не мог понять, кто из них был Курчатов и Келдыш, а кто Королёв.

— Есть множество других программ, возвращающих народу Мечту. “Армия Русской Мечты”. “Город Русской Мечты”. “Арктика Русской Мечты”. “Херсонес Русской Мечты”. Отдельная, быть может, самая важная программа — “Лидер Русской Мечты”.

— И каким же, по-вашему, Пётр Дмитриевич, должен быть Лидер Русской Мечты? — спросил президент, откладывая ручку.

— Он должен верить в Мечту. Направлять к ней народ, используя весь драгоценный арсенал “русских кодов” Таблицы Агеева. При этом он должен любить народ и бояться Бога!

— Великолепно! — воскликнул президент. Схватил ручку и нарисовал графин. Пётр Дмитриевич понял, что это был автопортрет, который обладал странным сходством с оригиналом.

— Признателен вам, Пётр Дмитриевич, за содержательный разговор. Нам следует создать лабораторию, а потом, быть может, институт для продвижения ваших идей. Для вас дверь в мой кабинет всегда открыта.

Они расстались. Двигаясь по кремлёвскому коридору, Пётр Дмитриевич думал, какое счастье быть соратником великого человека, отдать все свои таланты служению, служить президенту и благословенной Родине.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Москву завалило снегом, и она барахталась в сугробах. Машины выезжали из дворов неохотно, горбатые, вывозили на капотах и крышах белые горы. По улицам стадами двигались снегоуборочные грузовики, сдерживая торопящийся злой поток. Светофоры беспомощно переключали красные и зелёные рыльца, замутнённые снегом. У памятников на головы были нахлобучены белые папахи, словно городские власти выдали им всем одинаковые безразмерные шапки. Прохожие шли, отворачиваясь от ветра, и на бровях и ресницах женщин таял снег.

Агеев боролся со снегопадом один, среди деревьев, опустивших ветки под тяжестью снега. Снег лёг ровно, без бугорков, сравнив клумбы, могилку кота Кузьмича, забытое полешко. Пётр Дмитриевич орудовал лопатой, задыхаясь, краснолицый, расценивая свою работу как сраженье, борьбу за выживание, прорубал проходы от крыльца до калитки, от машины до ворот. В своей работе он находил что-то богатырское, удалое, возможное только на Руси. И какое счастье было увидеть на снегу оранжевую корку мандарина, а в магазине на прилавке — коробку ёлочных игрушек: хрупкие восхитительные шары, звёзды, стеклянные пики, фиолетовые, серебряные, алые. И такое умиление, нежность, незабываемое детское чудо исходило от них.

И всё это время, каждое мгновение он думал о Ирине. Он её любил всё нежнее, мучительнее, винил себя, больше не находил её вины, а только свою. Свою чёрствость, себялюбие, истеричность, неумение понять, что значило для неё это признание, что побудило её это сделать, какая самоотверженность, какая любовь, какая вера, что будет понято, прощена, и их любовь одолеет всю скверну и тьму.

Двигался ли по Москве, или работал дома, или наносил визиты, каждый из которых был важнее другого, — он думал об Ирине, хотел ей звонить и не решался. Горько откладывал телефон.

Он зашёл перекусить в ресторан Дома литераторов. Не в тот знаменитый на всю Москву клуб, где бурила яростная литературная братия, под общим сводом дубового зала сходились диссиденты, сторонники власти, печально-раздражительные поклонники Трифонова, рыдающие и дерущиеся деревенщины. Того Дома литераторов больше не было. Дубовым залом владели уважаемые бандиты, и туда больше не было хода обедневшим писателям. Вражда и ненависть литературных направлений привела их к обоюдному истреблению. Крупные писатели советской поры поумирали или выродились, и уже не захаживали в обмельчавший клуб. А новая поросль литераторов предпочитала встречаться в других ресторанах, которых развелось несусветное количество.

Пётр Дмитриевич зашёл сюда, но не в дубовый аристократический зал, а в ресторан поскромнее, попроще, хотя и обладавший хорошей кухней. За соседним столиком восседал знаменитый либеральный поэт Дмитрий Быков. У него полностью отсутствовала шея, и он поворачивался к собеседнику всем своим тучным телом. Чёрные кудряшки, всегда почему-то потные, прилипли ко лбу. Он был окружён почитателями и что-то рассказывал про франкфуртскую книжную ярмарку, громко повторяя:

— Мандельштама, чтобы понять, нужно рассматривать в ультрафиолетовых лучах.

Через ресторанный зал проходил режиссёр Никита Михалков — пышные усы, зоркие смешливые глаза, пальцы, усыпанные перстнями. Увидев Дмитрия Быкова, своего давнего противника, которого не раз прилюдно

в телепередачах именовал самыми низменными, почти собачьими кличками, Михалков не прошёл мимо, а радостно кинулся к Быкову, заключил в объятия:

— Гениальный стих! “Наш президент — мышонок тонкохвостый!” Это гениально! Позвони как-нибудь! — И, блестя перстнями, Михалков прошёл в дубовый зал, где его ожидал продюсер из Голливуда. Быков стёр со щеки слону поцелуя и повторил:

— Мандельштама, чтобы понять, нужно рассматривать в ультрафиолетовых лучах!

Агеев заказал стейк, бокал вина. Приготовился есть и вдруг бессильно опустил приборы. Он подумал об Ирине и почувствовал: если не увидит её, то упадёт без сил, зарыдает, совершит безумное деяние, после которого ничего невозможно будет исправить. Он схватил телефон и позвонил:

— Я не могу без тебя! Каждую секунду! Каждый шаг! Просыпаюсь ночью! Мерещишься на улице, и я иду, и вижу — это другая женщина! Приезжай! Сейчас! Приходи!

— Ты простил меня? Я гадкая, я скверная. Ты меня презираешь?

— Я люблю тебя! Все эти дни, что я не видел тебя. Такая глупость! Столько потеряно дней, часов, минут, секунд! Всё это время мы могли быть вместе!

— Я вся высохла. Ты меня не узнаешь. Я каждый день хожу в церковь, прошу Богородицу простить меня!

— Приходи сейчас же! Это близко!

Он отложил телефон, и у него задрожали руки. Давнишний афганский взрыв накатил на него, и он не мог поймать свои пальцы. Бил ими о край стола, умеряя дрожь болью.

Ирина вошла и некоторое время от порога искала его. И он несколько секунд мог наблюдать её. Видел, как она похудела, как испуганно сжаты её губы, как ссутулились её плечи. И такая в нём поднялась боль, любовь, жалость, вина, такое обожание и ликование, что он поднялся, пошёл к ней, обнял, вдыхая запах московского снега, который таял в её волосах, чудесный армат её любимых духов. Пушистая мягкость бровей, которые он теперь целовал не во сне. Это чудесное место на её переносице, которого он касался губами, и руки, обнимавшие её, продолжали дрожать.

— Не будем о худом, об ужасном! Только чудесное! Ты со мной! Ты знаешь, деревья скучают, упрекают меня. Где Ирина? Ты нас познакомил, мы её полюбили. Поедем ко мне, я покажу тебя деревьям, и они успокоятся!

— Поедем, — соглашалась она, и он видел на глазах её слёзы.

— Ты знаешь, здесь такие события! Сам президент меня пригласил. Предложил сотрудничество. Он очень глубокий обаятельный человек. К тому же хороший художник. Нарисовал автопортрет в виде графина. Много общего. Психологическое сходство!

— Не понимаю, что ты говоришь, мой любимый.

— У нас будет своя лаборатория, может, институт. Мы сможем вместе работать.

— Но ведь кругом столько опасностей, столько врагов! Они взяли нас с тобою в кольцо!

— Они жалкие ничтожные трусы. За нами мощь государства!

— Я сказала Фаддею Аристарховичу, что больше не могу, что всё тебе рассказала. Она кричал, топал ногами, сказал, что я предала корпорацию, и он меня убьёт. А потом он исчез со своими усачами, должно быть, уехал в Америку. Но он вернётся. Он страшный человек!

— Мы скроемся от него. Скроемся от всех. От президента, от депутатов, от журналистов. Я знаю место, где нас никто не найдёт.

— Это где?

— В Якутии, на Лене, у самого океана. Там есть приток. Чистейшая вода и скалы. Как страницы каменной книги. И на них письмена на древнем, уже не существующем языке. Господь сотворил землю, и сотворил этот язык, и на нём написал всю судьбу человечества. Там, у этих скал есть изба. Печь, лежанка, стол, оконце. Будем там жить. Летом я стану ловить рыбу, скользких серебряных ленков, а ты будешь вялить, готовить на зиму.

Грибы, ягоды, кедровые орехи. Я стану охотиться. Зимой стужа страшная, скалы поют, с них падают камни. И звёзды, огненные, жгучие, страшные. Посмотрим на звёзды, окоченеем, и в избу. Печь, жар. Ты на лежанке под ворохом одеял, и я к тебе пробираться. Лежим в полярной ночи, огоньки по стенам бегают. Снаружи вой, стук камней, а я тебя обнимаю, целую, и знает о нас только один Господь. Уже написал о нас в Своей книге.

— Такое возможно? — он держал её руки в своих руках, и в них больше не было дрожи.

Куда-то встал и важно прошествовал Быков, окружённый обожателями. Несколько раз туда и обратно пробежал Михалков, растопырив пальцы, сверкая перстнями.

— Почему мы здесь сидим? Пойдём к тебе. Хочу увидеть твоё ночное зеркало, и как в нём появляется античная ваза!

— Поедем. Только просьба. Давай прокатимся по Тверской. На ней уже поставили ёлки. Полюбуйтесь на ёлки?

— Конечно!

Они вышли из ресторана, сели в машину и покатали по Тверской, великолепной в этот снежный вечерний час. Тверская блистала предновогодней роскошью. Бриллианты высыпали из витрин и повисли на люстрах, деревьях, бессчётных экипажах, сверкающих в лёгкой пурге. У Белорусского вокзала стояла царственная ель, вся увешенная тёмно-лиловыми шарами, в которых переливалась площадь, и казалось, дышит шелками, переливается драгоценностями криолин блистательной дамы.

— Она похожа на императрицу Елизавету Петровну! — восхищалась Ирина, провожая проплывающую ель, которая, казалось, поворачивается на каблучках.

На площади Маяковского ель была шире, дородней. Под тяжёлой парчой угадывалось сильное зрелое тело. Ель поводила плечами, вся усыпанная аметистами, увенчанная жемчужной короной.

— Не правда ли, она похожа на Екатерину Великую? — Ирина восхищалась императрицей, и Пётр Дмитриевич был рад этому наивному обожанию, которое отвлекало её от тёмных воспоминаний.

Ёлка у Пушкинской площади была в белых кружевах с бриллиантовыми подвесками, и, конечно же, она была Натальей Гончаровой. В прозрачной метели она кружилась перед Пушкиным, а тот печально, влюблённо смотрел на её пленительный вальс.

Ёлка у Юрия Долгорукова была Анной Ахматовой, чёрно-бархатная, в серебре, с алым веером и хрустальным бокалом, в котором плескалось гранатовое вино.

Ёлка на Манежной с вихрями машин, в стеклянных бусах, всплёскивала ветвями при каждом проносящемся автомобиле, была наречена Мариной Цветаевой. Ирина успела прочитать цветаевский стих, когда они вылетели к Лубянке. И ёлка в карусели машин своей изумрудной и золотой красотою заставляла кружить замороженные автомобили, не отпускала их от себя. И казалось, Москва нашла свою ось и вращается вокруг прекрасного дерева своими дворцами, куполами и шпильями.

— А это кто? — спросила Ирина.

— Это ты, моя любовь! Моя царственная, ненаглядная!

Ирина поцеловала его, и он видел её счастливое, озарённое огнями лицо.

Они оставили машину на парковке и пробирались дворами, в которых сугробы поглотили детские лесенки и качели. Из-за тёмных фасадов появился знакомый особняк. Он был особенно хорош среди блестящего снега, с янтарным фасадом, чугунным крыльцом и железной изгородью. Он напоминал старомосковские усадьбы, у которых дожидался извозчик с каретой. На крыльце появляются гости, запахивая тяжёлые шубы...

Пётр Дмитриевич и Ирина проходили мимо особняка, как вдруг из открытых ворот на них с рёвом и хрипом бросились две овчарки. Агеев видел, как одна собака сбила Ирину на снег, возилась на ней, рвала. Ирина кричала, защищалась руками. Вторая овчарка литым ударом кинулась Петру Дмитриевичу на грудь. Он видел близко огромные блестящие зубы, розовые

десны, мокрый язык. Собака хрипела, подбиралась к горлу. Пётр Дмитриевич сбрасывал с себя зверя, стремился на помощь Ирине. Но овчарка вгрызалась ему в плечо, локоть, грудь, стремилась к горлу. Он кричал, отбивал собаку. Второй пёс урчал, тербил лежащую на снегу Ирину. Пётр Дмитриевич изнемогал. Слышал крики, видел бегущих из особняка людей. Падал, заслонял локтем горло, а локоть прогрызала до костей собака.

Он потерял сознание и очнулся в больничной палате, весь в бинтах и гипсе, под капельницей. К нему склонился врач в белом колпаке:

— Как вы?

— Что с женщиной? Где она?

— Спасти не удалось.

Пётр Дмитриевич снова потерял сознание.

Его излечение в больнице проходило медленно. Укусов было множество. Некоторые кости имели трещины. Особенно глубокие раны были на груди. Собака прогрызала грудь, добираясь до сердца. Хотела вырвать Таблицу. Агеев не сомневался, что всё это зверство устроил Фаддей. Пётр Дмитриевич с Ириной любовались ёлкой Натальей Гончаровой, а Фаддей держал на поводке собак. Любовались ёлкой Анной Ахматовой, а Фаддей снимал с ворот замок. Пётр Дмитриевич восхищался царственной ёлкой на Лубянке, а Фаддей подводил собак к раскрытым воротам. А потом Фаддей исчез. Все думали, что он уехал в Америку, а он спрятался в метеорит, в свой космический дом, в обитель “чёрного космоса”. И собаки были животными “чёрного космоса”, из созвездия Псов. Совершили в Москве своё зверство и улетели обратно на небо, улеглись среди звёзд.

Пётр Дмитриевич корил себя за то, что вызвал Ирину из дома и тем самым отдал на растерзание собакам.

К нему в больницу приходили какие-то следователи, о чём-то спрашивали, что-то записывали. Когда Агеев начал понемногу вставать, он узнал, что Ирину похоронили на Домодедовском кладбище. Отправился туда искать могилу. Кладбище было огромное, до горизонта. Мела метель. Всё туманилось. Сливались одна с другой могилы, памятники, оградки. До горизонта под снегом лежал народ, дожидаясь, когда сбудется предсказание космиста Фёдорова, и всё это множество воскреснет и на ракетах Циолковского улетит на другие планеты.

Не найдя могилы, Пётр Дмитриевич вернулся домой. Он затих, замер. Надел на себя медальон с портретом Ирины и целыми днями лежал без мыслей, без чувств, слыша, как слабо ноет рана в груди. Не знал, есть ли под сердцем Таблица или её унесли в “созвездие Псов”.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Агеев жил в сумерках, словно ему на глаза накинута дымчатая кисея, через которую проходил тусклый свет и были видны не предметы, а их тени, не мысли, а тени мыслей. Но вдруг появились сосульки. На крыше образовалась и росла с каждым днём стеклянная гребёнка. Волнистые, разной длины, с опасными остриями, они наращивали по капле свою длину. И в них сверкало солнце. Сверкало так ослепительно, с радужными переливами, как великолепное светило. Серая кисея не могла затмить этот весенний ликующий свет.

Пётр Дмитриевич подходил к сосулькам, сжимал веки, превращая гребень в огненный белый шар, от которого летели перламутровые хвосты. Сосульки превращались в павлина, сидевшего на крыше дома. Пётр Дмитриевич играл с павлином, превращал его в радужный крест, в летящую комету, в хрустальный бокал, полный разноцветного вина.

Берёзы, ещё неживые и голые, вдруг стали ярко-серебряными, и этот сияющий свет стволов будил Петра Дмитриевича по утрам. А днём в вершинах берёз скапливалась такая синева, такой густоты, такой неземной силы, до черноты, что начинала кружиться голова, и близился обморок.

Деревья, ещё недавно полные снега, сожгли его в своих ветвях, стояли сухие, коричневые, горячие, и на снегу вокруг стволов образовались лунки.

Прилетела сойка, трескучая, беспокойная, торопилась сообщить Петру Дмитриевичу важную новость. А он и сам знал новость — пришла весна.

Снег сходил бурно. Под ветками сосны открылась земля, и показались кудрявые головки синих гиацинтов, бело-розовые крокусы. И, наконец, ожидаемая Петром Дмитриевичем, над снегами пролетела шальная бабочка-лимонница.

Агеев был подранок. Он знал, что ему никогда не выздороветь. Медальон с портретом Ирины был всегда на нём и причинял боль, которой он дорожил и от которой не хотел отказываться. Но как надрубленное дерево склоняет к земле чёрные бесплодные ветки, а другие, уцелевшие, полны соков и завязей, так Пётр Дмитриевич встречал весну, радуясь сосулькам, сойке и бабочке.

В конце апреля к нему явился фельдшер и доставил приглашение президента присутствовать на параде Победы. Приглашение удивило и обрадовало Петра Дмитриевича. О нем помнили, его звали.

Он готовился. Приводил в порядок костюм, отдал в прачечную рубахи, навел лоск на не слишком новые туфли. Утренняя Москва, по которой он ехал в Кремль, казалась просторной, озарённой и румяной, как лицо, получившее утренний свежий загар. Люди были приветливы, повсюду блестели ордена, постовые отдавали честь.

Пётр Дмитриевич оставил машину на Васильевском спуске и шёл вверх по брусчатке, одолевая склон. Всегда в этом месте с самого детства он испытывал волнение, предвещавшее встречу с чудесным. Тянулась красная кремлёвская стена, круглились впереди золотые куранты, храм Василия Блаженного каждый раз обретал новое обличье, рождая сказочные образы. Теперь плотно прилежавшие один к другому цветные купола, острые шатры, разукрашенные столпы и переходы напоминали рвущиеся из клумбы головки гиацинтов, бутоны крокусов, стрелки тюльпанов. Казалось, от храма исходит запах весенних цветов.

Петру Дмитриевичу указали место на каменных трибунах. За спиной у него в смуглом граните высился Мавзолей. Через площадь на стене ГУМа чуть колыхался от ветра огромный орден Победы. Агеева окружали оживлённые провинциалки. Поодаль сидел ветеран, сухой и нахоленный, как орёл, с набором орденов, в золотых потемневших погонах сталинского образца. На дальней стороне площади стояли войска, сама площадь была пуста. Блестела, как солнечная морская рябь, брусчатка. Но в этой пустоте была наполненность. Бестелесные летучие силы витали над площадью, беспокоя прозрачный воздух, собирали на мгновения сгустки солнца и вновь рассыпали их на лучистые вспышки.

Агеев чувствовал волнение, его восхищали Мавзолей, войска, соборы, но он не мог понять, присутствует ли в его сердце Таблица? Радость, что изливается из его сердца, омывает ли она драгоценное сокровище, которое притаилось в глубине израненной, в страшных рубцах груди?

Линейные, как танцующие журавли, проплыли у края площади, и окаменели, воздев карабины. Куранты совершили магический круг, сомкнули стрелки и издали звук, собранный со всех колоколен, словно с этого звука начиналось сотворение мира. Так почувствовал удар курантов Пётр Дмитриевич, не зная, ликует ли его израненное, продолжающее жить сердце или это Таблица откликнулась своими кодами на “музыку русских сфер”.

Из Спасских ворот скользнула длинная, как чёрная рыба, машина. Министр обороны, выезжая на площадь, осенил себя крестным знаменем, как это делают на пороге храма. И действительно, синее небо, золотые волны соборов, райский куст Василия Блаженного, замирающий в синеве золотой звук курантов — всё превращало площадь в храм, готовый к богослужению.

Машина с министром объезжала войска. Голос министра произносил что-то короткое, лязгающее, и в ответ гудело многоголосье, рокотало тысячью радостных глотков. Так гудит лес под напором бури. Так ревёт в ущелье водопад. Люди на трибунах вслушивались, старались угадать слова. Так слушают,



не понимая слов, рокочущий гром. Министр покинул машину, строевым шагом приблизился к Мавзолею, где президент принял его рапорт. В парадной речи президента Агеев мало что разобрал, но отчетливо уловил слово “Мечта”. То ли мечта о Победе. То ли о мирной жизни. То ли о будущем, к которому стремится народ. Упоминание о мечте восхитило Петра Дмитриевича. Таблица у сердца дрогнула. Была жива. Откликнулась, когда её позвал президент.

Грянул оркестр. Войска, стоявшие тяжким монолитом, зашевелились, заколыхались. От них стали отламываться бруски. Выдвигались к Историческому музею, сверкающему своими орлами. Разворачивались и шли к Мавзолею, стуча по брусчатке, раскрыв знамена, сияя саблями. И первым знаменосцем, с красной лентой через плечо, окружённый сверканием сабель, был знаменосец Победы. Рослый, могучий, с плавным воздушным шагом, он нес алое знамя со звездой, серпом и молотом. Солнечные сабли полосовали воздух. Офицер, ровняясь на президента, бил в брусчатку сапогами, рвал грудью воздух.

Пётр Дмитриевич ощутил восторг. Брызнули слёзы. Мимо проносили чудотворную икону его страны, его веры. Таблица мироточила в груди. В ней ожили все “русские коды”, которые собрала в себя божественная Победа, Золотая Богородица Государства Российского.

Войска, ещё недавно застывшие монолитом на другой половине площади, теперь волновались, клубились. От них отламывались литые бруски, гранёные коробки. Шли к Историческому музею, разворачивались и начинали движение к Мавзолею. Приближались, яростные, грозные, дрожащие от нетерпения. Развевались красные, из тяжёлого бархата знамена с золотыми орлами. Командиры стучали по брусчатке сапогами, жадно жгли ненасытными глазами трибуны, президента, министра обороны. Сияло серой сталью оружие наперевес. Красавцы, молодцы, стать и сила, оплот государства. Готовые прямо с парада ринуться в бой, в огонь, в пекло. Защитники воскрешённой, не покорённой России. Провинциалки на трибуне прижимали руки к груди. Ветеран, похожий на орла, поднял плечи, желая взлететь.

Шли десантники, сапёры, морская пехота, химики, выбивая из брусчатки стальной блеск, словно под ногами у них гудели колокола. И когда прошла последняя коробка, польхнув знаменем, сверкнув сабельным солнцем, наступила тишина, из которой стал вырастать подземный рокот. Пошла техника. Машины появлялись словно из-под земли, от Манежной и шли мимо Иверской часовни вверх, появляясь внезапно, — огромные танки и самоходки, звеня гусеницами, качая громадными пушками. В люках танкисты подняли ладони к вискам. Казалось, эти громады пекут где-то рядом, в них ещё не остыл жар печей, над ними вился голубоватый дымок жаровень. Они драли площадь стальными когтями, обнюхивали дулами пушек соборы, кремлёвские стены, ликующие трибуны.

Шло богослужение. Сияла лазурь. Колыхались золотые волны соборов. Василий Блаженный раскрывал бутоны райских цветов. В мраморных саркофагах лежали цари. В красной стене покоился прах полярников, лётчиков, землепроходцев. И повсюду на площади витал огонь, который сходит с небес и зажигает лампы и свечи. И когда пошли ракеты, юркие, остроносые, как горностаи, и тяжёлые, тупые, как носороги, Пётр Дмитриевич привстал на трибуне, воздавая долг возрождённому русскому царству, которому готов был служить всеми опущенными ему дарованиями.

Небо загрохотало, как буфет с хрусталём. Громадный “Белый лебедь”, закрывая полнеба, срезая кресты соборов, прошёл над площадью, и следом помчались серые размытые вихри истребителей, парами, тройками, журавлиными косяками, роняя из небес ветер и свист.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как Таблица разметала вокруг золотые зёрна своих сокровенных кодов, и последний покидающий небо истребитель стал золотым, как слиток.

Агеев влился в шествие “Бессмертного полка”. У него не было в руках фотографии любимого человека, которого он хотел бы воскресить в этом пасхальном шествии. Но у него был медальон с портретом Ирины. В крестном

ходе витали такие могучие и святые силы, что у Петра Дмитриевича появилась надежда увидеть любимую женщину живой.

Многолюдье было ошеломляющим. Люди выходили из подъездов, дворов, переулков, улиц. Тверская была полна до краёв. На балконах махали красными флагами. Все миллионы воевавших и погибших за Родину явились сюда. Их портреты в руках стариков и детей раскачивались, касались друг друга, сияли восхищёнными глазами, словно они были ясновидцами. Шествие предполагалось траурным, поминальным, но в нём не было уныния, печали, слёзного надрыва. Повсюду была радость, желание поделиться этой радостью с другими. Те, кто воевал и погиб в давнишних боях, хотели радоваться встрече, наслаждаться тёплой весной, узнать народ, народившийся после их смерти. Слышалась гармошка. Кто-то приплясывал. Кто-то нёс портретик Сталина, кто-то — картину Васнецова “Три богатыря”.

Пётр Дмитриевич незаметно целовал серебряный медальон и нашёптывал: “Видишь, как липы распустились? Какие чудесные на клумбе тюльпаны? Мы идём с тобой, как жених и невеста”.

Агеев шёл в толпе, зная, что в каждом, кто шагает рядом, живёт таинственный код русского воскресения, русской извечной веры, что смерти нет, что возможно — всеобщий вздох, всеобщий молитвенный возглас — и мёртвые воскреснут, и тогда не поймёшь, кто был мёртв и воскрес, а кто не умирал и будет жить вечно. Его вера в это была столь сильна, столь сильна была вера в эти тысячи и тысячи окружавших его людей, что совершилось чудо, какое совершается в крестных ходах. Те, кого несли на портретах их поздние родичи, поменялись местами с теми, кто их нёс. Мёртвые воскресли и понесли живых, а живые шли по воздуху, на руках своих прадедов.

Пётр Дмитриевич шёл, не касаясь земли, и Ирина несла его на руках.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

После визита к президенту и посещения парада Агеева стали забрасывать различными приглашениями, от которых Пётр Дмитриевич по простоте душевной не мог отказаться. Так он побывал на конкурсе собаководов, разводящих собак породы корги. Ещё он побывал на юбилейном вечере штангистов станкостроительного завода. Принял участие в чествовании выпускников пожарного училища. И среди этих назойливых и наивных приглашений его поразило одно. Господин Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон имеют честь пригласить господина Агеева Петра Дмитриевича на бракосочетание, которое состоится в храме “Большое Вознесение”, что у Никитских ворот. Венчание продолжит театрализованное представление с участием молодожёнов. Приглашаемый гость включён в список вип-персон, и за ним закреплены лучшие места обозрения.

Это приглашение невозможно было оставить без внимания, и Пётр Дмитриевич на него откликнулся. Ксения Фалькон была крестницей президента, и многие приглашённые, откликаясь на приглашение, отдавали дань уважения президенту.

Гости собирались на Ильинке возле Гостиного двора. Уже выстроился кортеж дорогих машин. В них размещались видные режиссёры, телеведущие, известные актёры, редакторы журналов. Во главе кортежа красовался великолепный катафалк с полированными дверцами и балдахином, на больших деревянных колесах, на которые обычно ставились кареты. Катафалк был запряжён шестёркой вороных лошадей в плюмажах из чёрных страусовых перьев. Пётр Дмитриевич был слегка удивлён катафалком, который не совсем вязался с венчанием, но большинство гостей усматривало в этом театральную интригу, и Агеев поверил в тонкий замысел режиссёра Эраста Богоносцева и его изобретательной невесты Ксении Фалькон.

Были полицейские машины сопровождения. Машины главных телевизионных каналов. В небе сновали квадрокоптеры. Самый юркий проник под балдахин катафалка и снимал лежащих в гробах Эраста Богоносцева и Ксению Фалькон. Гробы были обшиты чёрным сафьяном с серебряными кистя-

ми. Молодожёны выглядели как истинные покойники с жёлтыми окаменелыми лицами. Клов Эраста Богоносцева слегка согнулся на конце, утратив в смерти стальную крепость.

Раздался звук погребальной трубы. Катафалк застучал деревянными колёсами. Форейторы в чёрных плащах побежали, придерживая лошадей по уздцы. Процессия обогнула Кремль, выкатила на бульвары и причалила к ампириному храму “Большое Вознесение”, где когда-то венчались Пушкин и Наталья Гончарова. Множество зевак на тротуарах провожали процессию, некоторые горько рыдали.

Молодожёнов в гробах внесли в храм, поставили на столы. Батюшка с косой бородой, с засученными рукавами и в фартуке, похожий на мясника, тут же стал охаживать венчающихся парными венниками, восклицая:

— Всякое дыхание требует махания! Пусть невеста будет в теле, чтобы валенки слетели!

Покойники, получив изрядную порцию прутьев, выскочили из гробов. Ксения Фалькон была в розовой мини-юбке, отороченной кружевами. Эраст Богоносцев был в чёрном сюртуке с оранжевым цветком мальвы и в жёлтых канареечных панталонах. Он стали прытко бегать по храму. Священник носился за ним, размахивая кадиллом:

— Если Пушкин очарован, значит, выбрал Гончарову. Гончарова же при этом вышла замуж за поэта!

Некоторые гости усмотрели в представлении подвох. Но, не желая выглядеть отсталыми ретроgrадами, криво улыбались. Пётр Дмитриевич, едва вошёл в храм, оказался среди тихого золота, блёклых икон, зелёных и красных лампад, сразу же ощутил целомудренное дуновение того дивного венчания. И эти мерзкие скачки и гримасы были осквернением и святотатством, но он не мог поверить, что столько достойных людей способны смотреть на это и не остановят святотатцев.

Жених и невеста встали в середине храма. Священник в фартуке делал жениху знаки, подмигивал. Эраст Богоносцев вытащил из сюртука пухлую кипу ассигнаций, сунул священнику. Тот ловко спрятал деньги под косой бородой. Метнулся в алтарь и вышел оттуда со свиной головой и топором, каким на рынке рубят мясо:

— Венчается раб Божий Эраст рабе Божией Ксении! Венчается раба Божия Ксения рабу Божьему Эрасту!

Проревев эти ритуальные возгласы, священник трижды рубанул топором свиную голову, так что из нее полетели зубы.

— Люблю тебя, Натали!

Агеев почувствовал страшный удар в череп. Гератский взрыв раскроил ему кость, мозг распался, и его коснулась жуткая тьма. Код Пушкина был уничтожен. В Таблице зияла чёрная скважина, из которой тянул ледяной сквозняк. У Петра Дмитриевича дрожали руки, и он никак не мог поставить в подсвечник свечу.

Шаловливая кавалькада погрузилась в машины. Молодожёны сидели в чёрных сафьяновых гробах с серебряными кистями и весело целовались. Журналисты снимали. Наиболее проворные брали интервью.

Петр Дмитриевич не мог унять страшную дрожь в руках. С этой дрожью из него уходила всякая мысль, понимание мира, в котором он оказался. Его замкнули на электрический кабель, в котором сотрясается ток.

Кавалькада продолжала движение по Москве. Услужливая полиция перекрывала улицы, давала ход процессии. Они приблизились к памятнику Гагарина на Калужской. Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон возложили к подножию серебряного памятника траурные венки из кладбищенских цветов, среди которых шевелилась большая рыжая черепаха.

Агеев опять испытал удар в череп. Это погиб “русский комический код”. На взорванный, лишённый защиты мозг легла жёлтая черепаха, скребла мозг тупыми когтями.

Процессия побывала у памятника Владимиру Святому, украсив его подножье тушками общипанных кур, что сокрушало “код Херсонеса”. У конной статуи Жукова была насыпана груда несвежих костей. Пётр Дмитриевич

хотел вырваться из автомобиля, но дрожь в руках не позволяла нащупать ручку двери. Он смотрел в небо, и оно было наполнено мутью. Множество чёрных пылинок, мелких соринки летели в небе. Приближаясь к земле, они увеличивались, обретали форму крылатых насекомых. Падали на землю, превращаясь в жукелиц, сороконожек, улиток, червячков. Шустро бежали, скрывались в трещинах тротуаров, под камнями. Некоторые завязывались в узелки, шевелили кожаными щупальцами, как свастики, и ползли на брусчатку боком, как крабы из волн у Галапагосских островов.

Пётр Дмитриевич чувствовал смертельную угрозу, исходящую от этих едких червячков, блестящих сороконожек, которые по крошкам изгрызут железо самоходок и танков, марширующих лихих знаменосцев.

Процессия, совершив круг по Москве, истребив несколько базовых “русских кодов”, вернулась к Гостиному двору. Гостей пригласили в залы. В огромном зале были расставлены кресла, среди них выделялись ложи для высокопоставленных лиц. Вся середина зала отводилась под сцену, где молодёжь давала спектакль под названием: “Верность исторической памяти”. Агеев, не в силах унять дрожь в руках, разместился во втором ряду напротив золочёной ложи с приспущенными гардинами. Зал был почти полон. Законодатели театральной моды. Блистательные телеведущие. Остроловы, славные насмешки над православными иерархами. Юмористы, сочиняющие комические водевили по романам Толстого и Достоевского. Вальяжные геи, создающие особенную эстетику сексуальных извращений. Насмешники, вызывающие хохот своими пародиями на пьяных русских мужиков и обделённых любовью баб. Знатки эзопова языка, представляющие русское общество зверофермой. Выделялся оживлённый Борис Журавлик. Как всегда, в центре внимания пребывал главный редактор “Эхос Мундис” Плиний Краснопевцев, чьи немытые волосы набивались в открытые рты восхищённых поклонников.

Внезапно свет померк. Осталась освещённая одна лишь сцена, где предстояло играть Эрасту Богоносцеву и Ксении Фалькон.

В первом акте зритель увидел опочивальню Зимнего дворца, где на брачном ложе тешились император и императрица. В опочивальню врывается Григорий Распутин — его играет Эраст Богоносцев. Вышвыривает императора из постели императрицы — её играет Ксения Фалькон, — и овладевает императрицей со словами:

— Есть у матушки-царицы и у батюшки-царя, что поесть, повеселиться, погулять до октября.

Следует распутная сцена. Первый акт завершён.

Во втором акте Владимир Ленин, — его играет Эраст Богоносцев, — обнимает в постели без видимой охоты Надежду Крупскую. В спальню врывается Инесса Арманд — её играет Ксения Фалькон.

— Пусть реки слёз кровавые прольются, моя любовь к нему, как революция!

Ленин забывает о Крупской в объятиях Инессы Арманд. Не всякий выносит эту сцену.

В третьем акте Аллилуеву мучает своей неистовой похотью Троцкий. Аллилуева — её играет Ксения Фалькон — уже готова расстаться с жизнью. В спальню врывается взбешённый Сталин — его играет Эраст Богоносцев.

— Одна дыра тебе на свете люба — кровавая дыра от ледоруба.

Происходит ужасная кровавая оргия. Часть зрителей, в большинстве своём геи, на время покидают зал.

Следующий акт происходит в блокадном Ленинграде. Изнурённая голодом Ольга Берггольц — её играет Ксения Фалькон — вяло отвечает на ласки Шостаковича. Это унылое действие нарушает Жданов — его играет Эраст Богоносцев, — он бурей врывается в спальню, где в графине замёрзла вода. Ласки Жданова грубы и по-народному свирепы. Любовь умирающей Ольги Берггольц смотрится ужасно. Утолённый Жданов уходит, попутно выливает из графина растаявшую воду.

— Минует радость, кончится беда. Останется лишь талая вода

В последнем акте происходит космическая оргия. Космонавтка Терешкова — ее играет Ксения Фалькон — в открытом Космосе предается неистовой страсти с космонавтом Николаевым — его играет Эраст Богоносцев. Буря страстей столь велика, что космический корабль едва не сходит с орбиты. Тысячи земных телескопов направлены на космическую станцию. Причём детям не позволяют смотреть. Раздаётся торжествующий гимн:

— Если хочешь, попроси. Закручусь вокруг оси!

Свет в зале гаснет. Слышатся глубокие вздохи зрителей. Редкие попискивания дам. Все ждут продолжения. И оно наступает.

В чёрном бархатном мраке сцены загорелся яркий прожектор. Он осветил странное сооружение, напоминавшее спортивный снаряд под названием “конь” — длинное, похожее на конское тулово, бревно и четыре грубо прибитых ноги. Странность этого сооружения довершала розовая мини-юбка с кружавчиками, в которой Ксения Фалькон совершала венчание. Юбка была натянута на задние опоры станка, что странным образом напоминало Ксению Фалькон, вставшую на четвереньки. В темноте послышался хрип и рёв, и в свет прожектора ввели на цепях быка. Мускулистые силачи, играя бицепсами, сдерживали могучие порывы животного. Его фиолетовые губы переполняла слюна. Красные глаза под белёсыми ресницами слепо вращались, словно он чувствовал, но не видел предмет своего вождения. На быка был напялен чёрный стюрок с рыжим цветком мальвы, принадлежавший Эрасту Богоносцеву в момент бракосочетания. Наконец, шумные ноздри быка уловили сладкий аромат мини-юбки. Бык рванулся, повлёк за собой силачей. Со стуком взгромоздился на бревно с мини-юбкой. Неземная, не бычья страсть выдавили из бычьего паха огромный отросток, красно-синий, перекрученный венами. С диким рёвом бык ринулся, скользя копытами по бревну, и выбросил жаркую, тугую, как из брандспойта, струю, которая прожгла воздух, расплескалась на полу. Пол кипел и дымился, а из темноты раздались крики боли и наслаждения, видимо, капли горючей жидкости попали в кого-то из гостей. Быка поспешили увести. Горел свет. В липких лужах лежал жёлтый цветок мальвы. Восторженные крики сопровождали новую порцию гостей, успевших захватить завершение грандиозной сцены.

Пётр Дмитриевич стоял во втором ряду, и его руки продолжали дрожать пуще прежнего. Он вдруг с ослепляющей ясностью понял, что присутствует не на скабрезных посиделках порочного режиссёра Эраста Богоносцева и его растленной подруги Ксении Фалькон. Он присутствует при колдовской магической мистерии, при истреблении “русских кодов”. На адскую наковальню кидался “русский код”, по нему наносился удар страшной кувалды и превращал драгоценный кристалл в пыль. Так был уничтожен “код Пушкина” в храме “Большое Вознесение”, “код русского космоса” у серебряного памятника Гагарину, “код Херсонеса” и “код Победы”. И теперь была истерзана, истоптана, разорвана, полита ядовитой бычьей спермой вся русская история, пасхальный смысл которой Пётр Дмитриевич проповедовал. И это торжественное осквернение совершалось во имя него, было его казнью, было уничтожением сокровенной Таблицы.

Он решил, что казнь подошла к концу, и его можно выкинуть из Гостиного двора на Ильинку, где дождь, sireны полицейских машин, вся ничтожная, лишённая высшего смысла жизнь. Но раздался торжественный марш, и в зале появились Крамской и Младороссов.

За ними теснился православный предприниматель Проклов, окружённый “Русским сообществом”, причем кавалеры “сообщества” были под руку с отвратительными старухами из бывших народных артисток.

Все обступили вельможных особ. У президента в руках был букет цветов, который он тут же вручил своей крестнице, триумфальной Ксении Фалькон. Множество фотоаппаратов запечатлели нежные поцелуи.

Пётр Дмитриевич с криком выбежал из Гостиного двора. Стал метаться по Ильинке, титенно стараясь схватить машину. Одна машина затормозила. Три усача заломили ему руки за спину. Заклеили рот скотчем, кинули в багажник. Агеев лишился чувств и свернулся калачиком в просторном багажнике иномарки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Он очнулся в багажнике и вспомнил всё, что тому предшествовало. Агеев прислушивался к звуку тормозов, к полицейским и медицинским сиренам, к частым остановкам. Видно, машина шла по центральным улицам города. Остановки стали реже. Сирены поутихли. Машина катила по проспекту с редкими светофорами. Звук моторов стал тише. Машина ровно катила с редкими обгонами, и Пётр Дмитриевич решил, что они выехали за город. И не ошибся. Машина остановилась. Багажник раскрылся, и три неотступных усача наклонились над ним. Среди них появилось знакомое лицо Фаддея, чья борода делала его похожим на испанского идальго. И ещё одно лицо, милостивое, какие бывают у затейников на детских ёлках. Ну, конечно, это был Майкл Вякио, гостеприимный хозяин курильни.

— Поднимите его, — приказал Фаддей.

Усачи извлекли Петра Дмитриевича из багажника. Потянули в лес, в заросли дубов и орешника. Какая-то рыхлая, укутанная в тряпье старуха тащила хилую вязанку хвороста.

— Бабка, хромай отсюда, — прикрикнул на неё Фаддей, и та испуганно укрывалась в лесу. — Давайте его сюда, — приказал Фаддей.

В лесу среди корней была вырыта яма. На ее краю стоял гроб, черный, с сафьяновым нутром, с серебряными кистями по углам.

— Для тебя такая честь, Петрусь, лечь в гроб самой Ксении Фалькон. Будешь лежать, как скрипка в футляре. Загрузите моего друга в гроб!

Усачи уложили Петра Дмитриевича в гроб. Его руки и ноги были стиснуты скотчем, рот заклеен липучкой. Агеев понимал всю безысходность своего положения и не пробовал шевелиться или издавать звуки. Гроб был жёсткий и тесный. Ксения Фалькон с раскормленными бедрами едва помещалась в гробу.

— Майк Вякио отличный работник. Работает в полевых условиях так же виртуозно, как и в лаборатории. Сейчас он сканирует с твоего сердца Таблицу, и для этого не придется вскрывать тебе полость. Правда, Майкл?

Вякио не отвечал, только тихо улыбался. Устанавливал в изголовье гроба мониторы, стойки, штативы и камеры. И лицо его было таким же наивным, детским, как в курильне, когда он ловил сачком думы.

— Не думай, что твоя Таблица — особое для нас приобретение. Курьёз. Я отвезу Таблицу в Швейцарию, в Лозанну. Там размещается хранилище раритетов, претендовавших на то, чтобы изменить ход истории. Глиняные таблички Хаммурапи. Берестяные грамоты. Велесова книга. И вот твоя Таблица Агеева. Сон разума, потревоженного взрывом фугаса. Майкл, ты готов?

— Мне нужно увеличить разрешающую способность по оси “зет”. — отозвался Майкл Вякио.

— Прошу, сделай почётче фрагменты “Арктика Русской Мечты”, “Космос Русской Мечты” и “Армия Русской Мечты”.

— Синхронизация обеспечена. Могу начинать, — ответил Майкл Вякио.

— Конечно, я лукавлю, Петрусь, говоря, что твоя Таблица безделица. Русский народ находится в плачевном состоянии. Он почти не народ. Но русские всегда выкидывают фокусы. Как поведут себя они, если к ним в руки попадёт твоя Таблица? Опять “Пятая империя”? “Эхо Херсонеса”? “Святое оружие”? “Религия русской победы”? Опять “Русская Мечта”, когда на Святой Софии появятся православные кресты? Таблица не должна попасть в руки русских. Русские должны отдохнуть от своей пасхальной истории. Хватит им маяться, добредая то до Берлина, то до Парижа. Хватит русским правителям — князьям, царям, вождям, президентам — рвать пупки и строить империи. Дадим им, чёрт возьми, отдохнуть! Ну как там, Майкл?

— Пять минут, Фаддей Аристархович.

— Ты не знаешь, Петрусь, как устроена российская власть. Думаешь, президент не хочет иметь твоей Таблицы? Хочет, но чтобы его называли “ваше величество”. А председатель Думы? Тоже хочет, но чтобы его называли “господин президент”. А Проклов хочет стать председателем Думы. Дадим же им отдохнуть. К чёрту Таблицу Агеева! Как ты, Майкл?

— Файлы пошли. Процесс окончен.

— Вот и ладно. Прощай, Петрусь. Встретимся на метеорите. Тебя закопают, но оставят трубу. Сможешь ещё подышать.

Майкл Вякио собрал свои приборы и отнёс к машине. Усачи тяжело спихнули гроб в могилу. Прикрыли крышкой. Стали забрасывать землёй. Трубка позволяла Петру Дмитриевичу дышать. Удары земли о гроб стихли. Раздался далёкий рокот отъезжавшей машины, и всё смолкло.

Пётр Дмитриевич лежал в гробу и прощался. Ему не было страшно. Только сжимал тесный гроб и холодила земля. Он думал о бабушке и её Евангелии с золотым обрезом, которое она читала перед сном. Вспоминал, как отец взял его на руки и вошёл в реку, и он прижимался к отцу, веря, что ничего не случится. Как мама нашла на даче большой белый гриб, и все сошлись, восхищались, а мама порозовела от удовольствия. Он думал об Ирине, она ждёт его, и они скоро встретятся, обнимутся и пойдут по дугу, синему от цветного горошка, и взлетит коростель, красная птица, полетит, свесив ноги, и упадёт в далёкий куст, перевитый вьюнками. Зимой земля вокруг станет колючей и твёрдой, а весной размякнет, пропитается струйками воды. И, быть может, над его могилой прошумят ураганы, прокатятся востания и революции, или враг пройдёт своими железными дивизиями. И он будет защищать эту пядь земли, отпущенную Богом, крохотный ломоть России, и, быть может, враг будет здесь остановлен.

Пётр Дмитриевич дремал, остывал. Произносил чьё-то тихое имя.

Он услышал над собою звуки. Кто-то скрёб землю, откапывал его. Звук прекращался и снова раздавался. Наконец, что-то стало скрести по крышке гроба. Крышка сдвинулась, отвалилась. Он лежал в открытом гробу, и над ним наклонилось старушечье лицо.

— Ишь, что надумали изверги! Христа на них нет, чтобы живого человека закапывать!

Пётр Дмитриевич подумал, что это та старуха, которая встретила его на опушке и шмыгнула в кусты, когда на неё прикрикнул Фаддей.

— А ежели бы их закопали, а кругом ни души!

Агеев подумал, что старуха руками, по-собачьи, разгребла могилу. Она размотала скотч на его руках и ногах, и Пётр Дмитриевич сел в гробу. Он отодрал липучку с губ. Спросил:

— Ты кто?

— Кто я, и сама не знаю.

Старуха была в тряпье, измазанная землёй. Но что-то в её лице показалось Петру Дмитриевичу знакомо.

— Ты кто?

Старуха не ответила и бочком, пятясь, стала удаляться, и Пётр Дмитриевич узнал в ней тётю Полю, с которой играл в дурака, разбрасывая по клеёнке дам и валетов.

— Тётя Поля, ты, что ли?

Старуха дошла до опушки, обернулась, и Агеев узнал в ней маму, её волшебную женственность и красоту. Мама улыбнулась и скрылась за дубом, только листва шевельнулась.

Пётр Дмитриевич поднялся и пошёл к дороге. Он чувствовал странную лёгкость. Тяжесть, которую носил на сердце, пропала. Таблицы на сердце не было. Но он не жалел об этом, радуясь необычайной лёгкости, о которой успел отвыкнуть.

Он вышел на шоссе. Оно было уезжено, давно не знало ремонта. Но тем и красиво. На обочине росли кусты, круглые, как шары. Дубы набросали желудей, и те превратились в дубраву.

Пётр Дмитриевич наслаждался небывалой лёгкостью. Таблица не давила на сердце. Страх её потерять или с ней расстаться не было и в помине. Он был свободен, спасён для жизни. На шоссе лежали длинные тени, и по этим теням прыгали сороки.

Он услышал далёкий дружный грохот. Ревели моторы, их грохот становился ближе. Показались мотоциклисты на великолепных машинах, которые извергали огонь, пульсирующий свет, громогласную музыку. Агеев

посторонился, лихие мотоциклисты промчались мимо, оглушив выхлопами. Один из них развернулся, накатил на Агеева:

— Пётр Дмитриевич, как вы тут оказались? — Хирург, предводитель “Ночных волков” во всём великолепии дорожной амуниции, на неподобающем “Ямаха” принял его в объятья.

— Да я вот так, на прогулке, ноги размять, — лепетал Пётр Дмитриевич.

— У нас пробег Русской Мечты до Осташкова. Нам по дороге.

И уже через минуту Пётр Дмитриевич держался за спину Хирурга, на которой маслом был нарисован портрет Сталина. И они рвали весенний воздух всей мощью своих шестицилиндровых машин, прорываясь то ли на Магадан, то ли на Марс.

Расстались в Осташкове, превратив тихий городок в космодром, и они стинули, оставив Агеева. Пётр Дмитриевич покидал городок, наслаждаясь ароматами невидимых озёр, слыша тихие звуки далёких колоколен.

Рядом затормозила машина. Фешенебельный “Ауди”. Стекло опустилось, и человек с длинным сухим лицом и жгучими глазами спросил:

— Если не ошибаюсь, Пётр Дмитриевич Агеев?

Пётр Дмитриевич тотчас узнал в человеке Данилу Величко, экстравагантного режиссёра магического театра, где побывал с Ириной.

— Не могу ли вас подвезти?

— Да мне здесь близко, — ответил Агеев, не желая прерывать своё одинокое шествие.

— Но всё-таки!

Пришлось сесть, и разговор зашёл о возможности управлять историческим процессом с помощью театральных постановок.

— Я вам благодарен за неожиданный финал в моём спектакле. В чёрно-белом Космосе возник великолепный, как Царствие небесное, фонтан.

Они расстались, и Пётр Дмитриевич был благодарен неординарному человеку за любезность.

Впереди показалось село с неказистой, скучной церковью. Главная дорога с уцелевшим асфальтом вела в село, но в сторону, мимо села, плутал просёлок. Агеев выбрал просёлок, чтобы не оказаться рядом с храмом, у которого были нарушены все пропорции, купол был липкого синего цвета, и от него на версту пахло ацетоном.

Просёлок спускался к оврагу, к мелким зарослям и не сулил ни приюта, ни ночлега. Навстречу по тропке поднимался велосипедист. Он вёл велосипед, у которого под рамой была прикручена коса. Сам владелец велосипеда был худой, загорелый дочерна, как человек, весь день проводивший на покосе.

— Здравствуйте, — поклонился Пётр Дмитриевич. — Куда дорога ведёт?

— А то не знаешь?

— Знал бы, не спрашивал.

— К Волге ведёт, куда же!

— Как к Волге?

Человек не ответил, провёл мимо свой велосипед, от которого пахло свежим сеном. Пётр Дмитриевич заторопился. Дорожка резво сбегала вниз, и скоро он очутился на дне оврага, у деревянного сруба, над которым голубела луковка. Чьей-то старательной рукой на дощечке было выведено: “Река Волга. Исток. Просьба не мусорить”.

Агеев стоял ошарашенный. Он и не думал мусорить. Дорога сама привела его туда, куда и должна была привести после всех злоключений.

Пётр Дмитриевич спустился по сырым ступеням к источнику, над которым синела луковка. Ямка, откуда бил источник, была светлая, песчаная, а дальше переходила в тёмный, заросший травой ручей. Он склонился к источнику, вдохнув запах студёной воды. Жёлтое дно родника бурлило. Там прыгали и крутились песчинки. Донная вода находила себе выход и играла песчинками. И это была Волга. Волга, укрытая кустами, спрятанная в овраге, позвала Петра Дмитриевича, и он пришёл.

Он прилёг на сырые ступени, приблизил лицо к воде, окунул губы и стал пить. Сладость омыла губы и рот. Он жадно пил, дышал в воду. Вода бурлила вокруг него пузырями. Он не мог поверить тому, что пьёт Волгу.



Он чувствовал, как переполняется Волгой. Он был в ней, а она в нём, и оба они — в громадном сверкающем мире. Он нашёл тот ключик, который приводил в движение все “русские коды”, отмыкал и замыкал Таблицу. Таблица опять была в нём. Песчинки, что танцевали на дне родника, эти золотые песчинки, были “русские коды”. Он пил Волгу, куда сошлись на водопой великие народы, где менялись династии, возникали и падали царства. Где родился акушер, принявший роды великого красного государства. Где Сталинград ополаскивал своё окровавленное победное лицо. Где рождались великие трудники, прозорливцы и мученики, небывалые художники, певцы и сказители. Он пил Волгу, а она пила его, его невыплаканные слезы, неопалимую веру, негасимую любовь.

Пётр Дмитриевич поднялся и пошёл *вдоль по матушке по Волге*, видя, как расступаются берега, как вливаются ручьи и реки.

Мимо по воде прошла лодка, поражавшая своей крепостью и красотой. Это неуспынный странник Фёдор Кононов шёл на веслах по Волге до Каспийского моря, а потом, погостив в священном городе Кум, решил обогнуть Индию и добраться до Японии.

С другого берега реки кричала кукушка. Это хранитель народного памятника провожал Петра Дмитриевича, не переставал куковать, суля ему долголетие.

Под Костромой, строя из мокрого песка волшебный дворец, Пётр Дмитриевич вдруг нашёл синюю стеклянную бусину, которую подарила ему девушка в ночь выпускного бала. Бусинка мерцала. В ней была проколота дырочка. Пётр Дмитриевич долго играл ею, пока не потерял, уже окончательно.

Теперь они шли с Ириной где-то за Городцом, босые, омывая ноги в волжской воде. Ирина нашла в песке большую перламутровую ракушку. Показала Петру Дмитриевичу и сказала:

— Положи эту ракушку себе на стол. Когда мы состаримся, мы станем рассматривать эту ракушку и вспоминать, как мы шли вдоль Волги.